А. В.
ЧАЯНОВ

А. В. ЧАЯНОВ



Необъятно богата сокровищница русской литературы.
Помимо гениев, обозначивших вехи
в духовном развитии человечества,
свой вклад в нее вносили
и многие менее известные писатели,
заслуживающие нашего внимания
и доброй памяти.
Заботу об издании таких писателей
заповедал нам Владимир Ильич Ленин:
«...мы должны вытаскивать из забвения,
собирать их произведения
и обязательно публиковать отдельными томиками.
Ведь это документы той эпохи».
(Ленин В. И. О литературе и искусстве.
6-е изд. М., 1979, с. 699)

ИЗ НАСЛЕДИЯ

А. В.
Чаянов

ВЕНЕЦИАНСКОЕ ЗЕРКАЛО

Повести

МОСКВА
«Современник» 1989

ББК 84Р7
Ч-32

Составление, вступительная статья
и примечания *В. Б. Муравьева*

Чаянов А. В.

Ч-32 Венецианское зеркало: Повести/Вступ. статья и примеч. В. Б. Муравьева.— М.: Современник, 1989.— 236 с., портр.— (Из наследия).

Известный советский ученый-экономист с мировым именем, автор трудов по истории науки, истории Москвы, искусствоведению, А. В. Чаянов (1888—1937) был еще и оригинальным писателем-беллетристом. Цикл предлагаемых читателю повестей являет собою цепь увлекательных, остросюжетных романтических историй о Москве начала XIX века и в этом смысле наследует творческие концепции Пушкина, Одоевского, Вельтмана.

$Ч\frac{4702010200-064}{М106(03)-89}115-89$ ББК 84Р7

ISBN 5-270-00465-8

Творец московской гофманиады

Александр Васильевич Чаянов родился в Москве 17 (29) января 1888 года. Его отец — Василий Иванович — по происхождению крестьянин Владимирской губернии, мальчиком пошел работать на ткацкую фабрику в Иваново-Вознесенске. С течением времени стал компаньоном хозяина, затем открыл собственное дело. Видимо, Василий Иванович обладал незаурядными организаторскими способностями и интерес к организации производства передал сыну. Мать — Елена Константиновна Клепикова — происходила из мещан города Вятки, из культурной семьи, где вполне понимали необходимость образования. Она была в первой группе женщин, допущенных к учебе в Петровской земледельческой и лесной академии в Москве, и окончила ее.

Детство и школьные годы А. В. Чаянова прошли в старом московском районе — в бывшей Огородной слободе, возле знаменитой церкви Харитонья в Огородниках, в Малом Харитоньевском переулке (ныне ул. Грибоедова, 7). При упоминании этого адреса, конечно, сразу же вспоминаются строки из «Евгения Онегина» о приезде в Москву Татьяны Лариной.

Дом, который московское предание называло «домик Лариных», стоял напротив дома, в котором жили Чаяновы, и был виден из их окон. Он оставался таким же, каким был в пушкинские времена и каким увидела его Татьяна.

В то время, когда Чаяновы поселились в Малом Харитоньевском, было уже известно, что дом, в котором они живут, построен на территории бывшего владения Пушкиных, которое принадлежало с 1798 года бабке А. С. Пушкина Ольге Васильевне, здесь жили в начале XIX века дядя поэта Василий Львович и тетка Анна Львовна. В годы детства А. С. Пушкина его родители также жили в этих местах.

Вообще эпоха конца XVIII — начала XIX века оставила здесь много воспоминаний, тут жили или бывали Карамзин и И. И. Дмитриев, Херасков и князь Н. Б. Юсупов, к которому Пушкин обращался с посланием «К вельможе», создав в нем яркий образ просвещенного мудреца «века Екатерины».

Тут же, наискосок, стоял в чаяновские времена скромный деревянный домик с мезонином в три окна, с палисадником, садом и сараями, при-

надлежавший отцу художника П. А. Федотова, здесь же родился и художник. По его словам, героев в сюжеты своих картин, «быт московского купечества» он черпал из «детских впечатлений», из наблюдений, «сделанных... при самом начале моей жизни». И в память А. С. Пушкина также сильно врезались ранние детские впечатления от жизни в Харитоньевском переулке, от сада Юсупова, описание которого он начинает словами: «В начале жизни школу помню я...»

Чаянов получил хорошее первоначальное домашнее образование, с детства владел основными европейскими языками, в доме была богатая и разнообразная библиотека. На развитие его литературных, эстетических вкусов решающее влияние оказала мать. Область занятий его двоюродного брата, библиографа, коллекционера, в будущем главного библиографа Библиотеки имени В. И. Ленина, С. А. Клепикова, с которым А. В. Чаянова связывала многолетняя дружба, может дать представление о широте интересов чаяновского круга.

Впоследствии эстетические впечатления первоначальных детских лет и ставшие ему известными тогда исторические предания будут постоянно привлекать его и наконец отобразятся в литературных, искусствоведческих, исторических занятиях Чаянова. Но в годы детства и отрочества он находится под сильнейшим влиянием и другой стихии, других традиций общественных идеалов шестидесятых годов. Семья Чаяновых была достаточно типичной разночинной интеллигентской семьей — без прямых связей с революционной средой, но духовно исповедывающей народничество. Среди этого круга особенной симпатией пользовалась Петровская земледельческая и лесная академия. Первый директор академии Н. И. Железнов в речи на торжественном открытии академии в 1865 году сказал, что она является учебным заведением, в котором бы «каждый молодой человек мог получить высшее хозяйственное образование, готовился принять участие в одном из важных общественных стремлений — в увеличении вещественного благосостояния нашего отечества». По своему составу Петровская академия была самым демократическим учебным заведением России. Один из студентов академии В. А. Анзимиров рассказывает об атмосфере, царившей в ней: «Петровская академия не давала ни чиновной, ни денежной карьеры. Лучшим в ней элементом были те из окончивших среднюю школу, которые шли сюда или ради ее революционной репутации, или для изучения естественно-исторических и общественных наук... Общественность петровцев, их сомкнутость, товарищеский дух, большая начитанность, объясняемая подбором поступавших, отсутствием каких-либо соблазнов и развлечений в Петровско-Разумовском,— выделяли их из студентов других заведений».

Чаянову родителями была предопределена практическая деятельность «в увеличении вещественного благосостояния нашего отечества», поэтому

его отдали учиться не в гимназию, а в частное реальное училище К. П. Воскресенского на Мясницкой улице — одно из лучших московских реальных училищ. По окончании его в 1906 году он поступил в Петровскую академию, которая в то время официально именовалась Московским сельскохозяйственным институтом, но, по традиции, ее называли в Москве по-прежнему. На решение Чаянова поступить в Петровскую академию повлияла, видимо, и семейная традиция: кроме матери, среди родственников со стороны отца также были агрономы. Но его выбор был сделан совершенно сознательно, и ни о каком давлении со стороны родителей не может быть и речи. Чаянов принадлежал к той части студенчества, которая шла в академию «для изучения естественно-исторических и общественных наук».

В студенческие годы, причем довольно рано — на втором курсе — у Чаянова определились его научные интересы и направление деятельности, он глубоко и серьезно занялся общественной агрономией. Под руководством таких выдающихся ученых, как А. Ф. Фортунатов, Н. Н. Худяков, Д. Н. Прянишников, он осваивает весь цикл практических знаний (о тщательности экспериментальной работы в лаборатории профессора Н. Н. Худякова он рассказывает в воспоминаниях о нем) и одновременно приступает к самостоятельной научной работе в студенческом кружке. Много лет спустя академик Д. Н. Прянишников напишет в своих воспоминаниях об этом времени: «Помимо обязательных работ, студенты охотно занимались в кружках, число которых достигло 20. В этих кружках выявились способные работники, и многие из них стали впоследствии видными профессорами: Вавилов, Чаянов, Минин, Якушкин и др.»

Кружок общественной агрономии (КОА), в который входил Чаянов, ставил своей целью «содействие своим членам в изучении агрономического обществоведения и методов общественно-агрономической работы в целях подготовки их к общественной деятельности в области агрономии». «Здесь, в обстановке самостоятельных докладов и прений на собраниях Кружка,— рассказывает автор исторического очерка о КОА Э. Петри,— вырабатывались и оформлялись взгляды впоследствии ставших известными первых членов КОА А. Н. Минина и Чаянова, взгляды и мировоззрение, вылившиеся в построение кооперативного идеала и новой теории крестьянского хозяйства, организационно-производственной».

О справедливости для своего времени и практической ценности для нашего выводов, идей и теорий организационно-производственной школы Чаянова, названного академиком, президентом ВАСХНИЛ А. А. Никоновым ее «блестящим представителем и фактическим лидером», уже написано специалистами в специальной и массовой печати достаточно много. Здесь отметим лишь одну сторону теории и практических рекомендаций Чаянова: он исходил в них из тщательного изучения и глубоко уважения

объективных внутренних законов существования и деятельности крестьянского хозяйства. Они преследовали одну-единственную цель — помочь более эффективному проявлению заложенных в самой природе крестьянского хозяйства его сильных, положительных, перспективных тенденций. Чаянов отрицал сам принцип попыток насилия над объективными законами, которое, стремясь опровергнуть естественный закон и навязать свои правила, как говорит здравый смысл и показывает практика, может разрушить, уничтожить организм, но не заставить его полноценно развиваться по чуждым ему, навязанным извне узаконениям, как бы те ни казались на сторонний взгляд логичны, красивы и благодетельны.

О направлениях своих интересов в студенческие годы Чаянов рассказал в автобиографических строках написанной в 1919—1920 годах повести «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии». Герой повести, в котором легко узнаются черты автора, вспоминает свои посещения знаменитого книжного развала у Китайгородской стены: «Ему вспомнилось, как с замиранием сердца он, будучи первокурсником-юристом много лет тому назад, купил вот здесь, направо, у букиниста Николаева «Азбуку социальных наук» Флеровского, как три года спустя положил начало своему иконному собиранию, найдя у Елисея Силина Новгородского Спаса, и те многие и долгие часы, когда с горящими глазами прозелита рылся он в рукописных и книжных сокровищах Шибановского антикваритета...»

Собственно, всем этим направлениям своих интересов — к общественным проблемам, изобразительному искусству, истории и литературе — он оставался верен всю жизнь. Правда, вернее было бы говорить не об интересах и направлениях, а о едином направлении общественной и научной деятельности Чаянова, в которой они сливались, в которой искусство являлось также методом познания, а познание становилось искусством.

Вопрос о соотношении научного и художественного познания неизменно вставал перед учеными, подходившими к глобальным проблемам. Современник Чаянова, выдающийся естествоиспытатель, поэт, художник, А. Л. Чижевский, которому коллеги заявляли, что «настоящий ученый стишков не сочиняет», писал в одном из стихотворений, отвечая на упреки:

...поэзия в пустой войне с наукой;
По сути же у них — единый корень;
Познанье же, друзья, вмещает все в себе:
Материю и дух — в единстве и борьбе...

Для Чаянова такого противопоставления не существовало, более того, научное и художественное познание, научную и практическую деятельность он объединял в одном понятии — искусство.

В «Путешествии моего брата Алексея...» на вопрос: «...вы, главковерхи духовной жизни и общественности, кто вы: авгуры или фанатики долга? какими идеями стимулировалась ваша работа над созданием сего крестьянского эдема?» — Алексей Кремнев получает такой ответ одного из главных создателей и организаторов описанного в повести будущего идеального общества А. А. Минина (прообразом которого является ближайший друг и единомышленник Чаянова А. Н. Минин):

« — Несчастный вы человек! — воскликнул Алексей Александрович, выпрямляясь во весь рост.— Чем стимулируется наша работа и тысячи нам подобных? Спросите Скрябина, что стимулировало его к созданию «Прометея», что заставило Рембрандта создать его сказочные видения! Искры Прометеева огня творчества, мистер Чарли! Вы хотите знать, кто мы — авгуры или фанатики долга? Ни те и ни другие — мы люди искусства».

Коллекционируя произведения изобразительного искусства — иконы, позже гравюры, Чаянов не ограничивается собирательством (по правде говоря, он никогда и не располагал для этого большими средствами), но изучает историю искусства, а также историю и психологию коллекционирования. По этим вопросам им опубликован ряд работ: «Московские собрания картин сто лет назад» (1917), статьи в журнале «Среди коллекционеров» (1920-е гг.), брошюра «Старая западная гравюра» (1926). Кроме того, он сам гравирует. П. Эттингер в статье «О мелочах гравюры» (1924) сообщает: «Профессор А. В. Чаянов, ради отдыха от научных занятий занявшийся гравюрой по дереву, в прошлом году из Гейдельберга прислал от руки раскрашенную своеобразную ксилографию, оповещавшую о появлении на свет его сына Никиты». Имеются сведения, что в юности Чаянов посещал Рисовальные классы К. Ф. Юона.

Библиотека Чаянова принадлежала к числу замечательных московских частных собраний. Особенно богато в ней был представлен раздел книг о Москве. В предисловии к исследованию «Театр Мадокса в Москве. 1776—1805» (1927) его жены О. Э. Чаяновой в числе источников и пособий называется «обширная библиотека по старой Москве проф. А. В. Чаянова, бывшая в нашем распоряжении».

Москва — ее история и градостроительные проблемы — другая большая и серьезная область постоянных и серьезных занятий Чаянова. «Московские собрания картин сто лет назад», «История Миюсской площади» (1918), «Петровско-Разумовское в его прошлом и настоящем» (1925) — таковы опубликованные москвоведческие работы Чаянова. В обществе «Старая Москва», членом которого он был, им сделаны доклады «Опыт построения ситуационного плана Москвы XVII века», «Опыт построения ситуационного плана Москвы XV века», «Топография Москвы XIII и XIV веков», «О поварах Английского клуба», «Московская ти-

пография XVIII века». Курсы по истории и топографии Москвы он читал в университете имени Шанявского и Московском университете. Кроме того, он занимался археологическими раскопками в окрестностях Москвы. Московской области посвящены также его некоторые экономические работы. Большое место занимает Москва в беллетристических произведениях Чаянова.

Литературная одаренность Чаянова проявилась буквально во всем, что он писал. В его экономических работах многие страницы представляют собой страстную, образную публицистику. В искусствоведческих трудах вдруг обнаруживаются такие детали и черточки, которые, собственно, к искусствоведению, к теории не имеют отношения, но зато живо воссоздают конкретный быт эпохи, ее аромат. Краеведческие, москвоведческие сочинения Чаянова также своеобразны: в них, как положено, много фактического, исторического материала, он скрупулезно анализирует сухой, специфический краеведческий материал: статистику, карты и планы, но при всем богатстве, разнородности информации, содержащейся в каждой работе, он создает целостный художественный, эмоциональный образ того района Москвы, о котором пишет. В очерке «История Миюсской площади» на строго научной основе прослеживается история топографии площади, но наряду с этим Чаянов обращается к легендарным сведениям. А. Мартынов в книге «Названия московских улиц и переулков с историческими объяснениями» (1888) высказал соображение, вернее, задал вопрос, не было ли связано название площади с именем разинского атамана Миуски: «...не был ли он казнен на той площади, которая носит это название?» «Мы не беремся судить,— пишет Чаянов,— какое отношение *исторический* Миуска имел к нашей площади, но мартыновского указания достаточно для того, чтобы тень *легендарного* Миуски носилась в аудиториях университета Шанявского и связывала его с вольницей Степана Тимофеевича Разина». Чаянову ясна историческая несостоятельность этой версии, но тем не менее именно легенда становится художественной и композиционной основой работы: она связывает прошлое с современностью и ставит яркий эмоциональный акцент на всем повествовании. Но что еще более необычно для научного исследования, в нем создан образ автора: сначала читатель ощущает его присутствие по отдельным замечаниям по ходу рассказа, а когда уже сложилось определенное представление, в заключительном абзаце появляется он сам: «В 1915 году часть площади перед университетом Шанявского переименовывается в «Улицу 19-го февраля». С этого момента для площади начинается ее современность, и случайный историк кладет свое перо».

Образ «случайного историка» возник здесь закономерно, из внутренней необходимости несколько необычной формы чаяновского научного исследования, присутствия в нем художественного, беллетристического эле-

мента. Отметим еще, что в 1918 году была издана первая повесть Чаянова под псевдонимом «ботаник Х.» «История парикмахерской куклы, или Последняя любовь московского архитектора М.».

Писательский путь Чаянова, в отличие от научного, служебного и общественного, не может быть пока из-за отсутствия многих сведений освещен последовательно и достаточно полно, однако основные его вехи мы наметить можем.

Писать Чаянов начал, видимо, в реальном училище, С. А. Клепиков вспоминал о его пьесе, написанной тогда. Сильный стимул к литературному творчеству Чаянов получил, поступив в Петровскую академию.

В Петровской академии любовь к литературе была традиционной, из среды петровцев вышло немало литераторов: В. Г. Короленко, М. М. Пришвин, И. А. Новиков и другие. Тесные связи с литераторами были у профессоров академии Н. Н. Худякова, А. Ф. Фортунатова.

Особую восприимчивость петровцев к литературе отмечал профессор-литературовед А. Я. Цинговатов, преподававший в первые послереволюционные годы на рабфаке Петровки. Он сравнивал учащихся разных учебных заведений: «В Разумовском аудитория оказалась наиболее чуткой в художественном отношении, наиболее эстетически-эмоциональной (вероятно, сказалось преобладание крестьянства). Предмет мой — новая и новейшая русская литература — вызывал единодушный интерес... Диапазон художественной впечатлительности и восприимчивости у аудитории оказался огромный: из Блока, например, увлекли аудиторию не только «Двенадцать» и не только «Скифы» — но и «Прекрасная Дама» оказалась не пустым звуком, и «Соловьиный сад» очаровал многих».

В годы пребывания в Петровской академии Чаянов входит, как сообщает он сам, в один из московских литературных кружков (к сожалению, неизвестен его состав) и, видимо, тогда начинает писать серьезно.

В 1912 году он издал тоненький сборник стихотворений «Лелина книжка». Это было его первое выступление в печати как беллетриста (к тому времени им уже было опубликовано около полутора десятков специальных научных работ: «Кооперация в сельском хозяйстве Италии», «Письма из сельскохозяйственной Бельгии», «Участковая агрономия и организационный план крестьянского хозяйства», «Некоторые данные о значении культуры картофеля в крестьянском хозяйстве нечерноземной России» и др.).

Наиболее ранние стихи в «Лелиной книжке» относятся к 1908 году, в основном — любовная лирика, изящные и ироничные стилизации. Стихи в достаточной степени подражательны, явна их связь со стилизациями Андрея Белого из «Золота в лазури», с поэзами Игоря Северянина, но в то же время в них виден и определенный собственный литературный опыт.

Герои стихов Чаянова — «милая Альвина» и влюбленный в нее студент-петровец:

Сегодня, милая Альвина,
Жасмина отцветает куст,
На завтрак с молоком малина
Припасена для ваших уст.
. . . .
Итак, начнем: в саду Альвина
Из лейки клумбы георгина
Свежит дождёвою водой,
Ее поклонник молодой —
Студент-петровец на бумажке
Строчит стихи в честь именин
Альвины. На его фуражке
Горит пунцовый георгин.

В некоторых стихах воспевается Петровско-Разумовское:

Люблю про подвиги Патрокла
В Петровке осенью читать.
Глядя на выпуклые стекла,
Вдвоем с Альвиной замышлять
Разнообразные прогулки
И, чтоб Альвине поднести,
Из листьев клёновых плести
Венки. Забраться в закоулки
Академического сада
И под покровом листопада,
Под звон осенних аллилуй
Сорвать украдкой поцелуй.

«Лелину книжку» Чаянов послал В. Я. Брюсову («Только Вам»,— написал он в сопроводительном письме, что, безусловно, говорит об особом отношении Чаянова к Брюсову). Отзыв Брюсова (на конверте письма Чаянова его помета: «Отвечено») был, видимо, весьма критичен, так как никаких следов продолжения переписки в архиве Брюсова не обнаружено.

В дальнейшем в литературном творчестве Чаянова основное место заняла проза. В 1918—1928 годах он напечатал шесть повестей: «История парикмахерской куклы, или Последняя любовь московского архитектора М.» (1918), «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» (1920), «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей» (1922), «Венецианское зеркало, или Удивительные похождения стеклянного человека» (1923), «Необычайные, но истинные приключения графа Федора Михайловича Бутурлина, описанные по семейным преданиям» (1924), «Юлия, или Встречи под Новодевичьим» (1928). Все они, кроме «Путешествия моего брата Алексея...», выходили в издании автора.

Действие «Истории парикмахерской куклы» и «Венецианского зеркала» происходит в начале XX века. «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» переносит читателя на шестьдесят лет вперед, в 1984 год, события, описанные в остальных повестях, относятся к концу XVIII — началу XIX века.

Таким образом повести Чаянова, изображая прошлое, настоящее и будущее, охватывают два столетия, но при этом нельзя не заметить, что в образах и характерах их героев много сходного, хотя в то же время про графа Федора Михайловича Бутурлина не скажешь, что он человек начала XX века, а архитектора М. никак не могло быть в конце XVIII.

Эта особенность объяснима, с одной стороны, взглядом автора на темпы эволюции человека как биологического вида. «Политический опыт многих столетий, к сожалению, учит нас тому, что человеческая природа всегда почти остается человеческой природой, смягчение нравов идет со скоростью геологических процессов...» — в «Путешествии моего брата Алексея...» говорит А. А. Минин, выражая и мнение автора — Чаянова.

Но другой и, как нам представляется, не менее важной причиной этой особенности является принадлежность повестей Чаянова к определенному мироощущению — к романтизму.

«В теснейшем и существеннейшем своем значении,— писал В. Г. Белинский,— романтизм есть не что иное, как внутренний мир души человека, сокровенная жизнь его сердца. В груди и сердце человека заключается таинственный источник романтизма; чувство, любовь есть проявление или действие романтизма, и потому почти всякий человек — романтик». Далее Белинский развивает это положение: «Романтизм не принадлежит исключительно одной только сфере любви... Сфера его, как мы сказали,— вся внутренняя, задушевная жизнь человека, та таинственная почва души и сердца, откуда подымаются все неопределенные стремления к лучшему и возвышенному».

Таким образом, романтизм и как литературное направление не может быть прикреплен к одному какому-нибудь времени, он сопровождает человечество во все эпохи его развития.

Свои повести Чаянов относил к жанру романтических, снабжая их определяющим подзаголовком — «романтическая повесть, написанная ботаником Х.».

«Нашей задачей являлось разрешение проблемы личности и общества. Нужно было построить такое человеческое общество, в котором личность не чувствовала бы на себе никаких пут... Всегда нашим конечным критерием являлось углубление содержания человеческой жизни, интегральная человеческая личность. Все остальное было средством... Весь социальный прогресс только в том и заключается, что расширяется круг лиц, пьющих из первоисточника культуры и жизни. Нектар и амброзия уже перестали

быть пищею только олимпийцев, они украшают очаги бедных поселян». Эти проблемы и цель, изложенные на страницах «Путешествия моего брата Алексея...» — основа романтизма Чаянова, его «стремления к лучшему и возвышенному», они являются генеральной идеей и его литературного творчества, и научного экономического поиска, и общественной, административной, организаторской деятельности.

Уже в предреволюционные годы Чаянов стал крупнейшим авторитетом в области сельскохозяйственной кооперации и — шире — организации сельского хозяйства. Пропагандируя свою теорию трудового крестьянского хозяйства, он проводит большие полевые исследования, читает лекции в Петровской академии, Московском университете, университете имени Шанявского и других учебных заведениях. Его привлекают для работы и консультаций в соответствующие государственные и общественные органы: Льноцентр, «Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по продовольственному делу», Лигу аграрных реформ, при Временном правительстве его выдвинули на должность товарища министра земледелия, правда, к работе в этой должности он не успел приступить, так как Временное правительство пало.

В апреле 1917 года, выступая на курсах по подготовке культпросветчиков при Московском Совете студенческих депутатов, Чаянов сказал: «В настоящее время мы стоим перед долгими годами тяжелой и ответственной творческой работы строительства новой России».

После Октябрьской революции деятельность Чаянова приобретает еще большую активность и широту. Кроме продолжающейся преподавательской работы, к которой прибавляется и работа в Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова, он создает Научно-исследовательский институт сельскохозяйственной экономии и становится его директором, занимает руководящие посты в кооперации — Центросоюзе, является членом коллегии Наркомата земледелия и представителем его в Госплане, едет советником на Генуэзскую конференцию — первую международную конференцию с участием Советского государства. В рабочей библиотеке В. И. Ленина находились некоторые работы Чаянова, он пользовался ими при написании статьи «О кооперации», также была известна Ленину деятельность Чаянова в Наркомземе — документально подтверждается, что он читал докладную записку Чаянова, имел отношение к утверждению его кандидатуры при назначении в Госплан; кроме того, по воспоминаниям современников (к сожалению, это только устные рассказы), Чаянов лично встречался с Лениным, и его утопическая повесть «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» — единственное художественное произведение, изданное не за счет автора, а государственным издательством — было издано по совету или распоряжению Ленина.

В тяжелейшие годы гражданской войны и экономической разрухи Чаянов верит, что экономические, продовольственные трудности преодолимы, но для этого необходимо, чтобы русский крестьянин участвовал в их преодолении сознательно и добровольно. В книге «Основные идеи и формы организации крестьянской кооперации» (кстати, находившейся в библиотеке В. И. Ленина) он пишет: «Во время Великой французской революции, когда отечество было в опасности, когда государственный аппарат колебался под ударами врагов — народные вожди не раз выбрасывали лозунг: «Levez les masses!» («Поднимайте массы!») — и бросали в борьбу стихию народных масс, своей мощью спасавшую положение... В грозный час, когда окажутся бессильными все методы предпринимательства, когда экономический кризис и удары организованного противника будут сметать наши сложные предприятия, для нас возможен единственный верный путь спасения, неизвестный и закрытый капиталистическим организациям,— путь этот: переложить тяжесть удара на плечи того Атланта, которым держится вся наша работа — да, в сущности, и все народное хозяйство нашей Родины — на плечи русского крестьянского хозяйства. Эти плечи смогут выдержать всякую тяжесть, если... если только захотят подставить себя.

А для того, чтобы они не уклонились от тяжести, нужно, чтобы они чувствовали, знали, сжились с тем, что дело крестьянской кооперации — их крестьянское дело, чтобы дело это тоже было действительно мощным социальным движением, а не предприятием только! Нужна кооперативная общественная жизнь, кооперативное общественное мнение, массовый захват крестьянских масс в нашу работу».

На фоне такой интенсивной общественной деятельности пишет Чаянов свои романтические повести.

Не будем пересказывать их содержание и сюжеты, они коротки, стремительны, лаконичны, и любой пересказ неизбежно обеднит и исказит их, ограничимся лишь общей характеристикой. Его повести действительно романтические в классическом понимании этого жанра: над судьбами их персонажей властвуют страсти и случай, жизнь героев полна невероятных приключений, они сражаются с разбойниками и привидениями, попадают в мир сверхъестественных сил.

На первой повести Чаянова «История парикмахерской куклы, или Последняя любовь московского архитектора М.» имеется посвящение: «Памяти великого мастера Эрнеста Теодора Амадея Гофмана посвящает свой скромный труд автор». Интересно, что это посвящение стоит на наименее «гофмановской» из всех его повестей, но в то же время оно указывает на истоки литературной традиции, которой следует Чаянов.

Его романтизм идет не впрямую от Гофмана, и даже посвящение ему лишь один из элементов этой традиции.

Существует мнение, что повести Чаянова — стилизация. Это утверждает и статья в «Краткой литературной энциклопедии»: «Чаянову принадлежат пять повестей, умело стилизованных под русскую романтическую прозу и лубочную книжку начала 19 века с элементами пародии». Но пародия на произведения, неизвестные читателю, а именно такими были названные книги начала XIX века в начале XX, просто не имеет смысла.

Повести Чаянова — не подражание сочинениям конца XVIII — начала XIX века, не пародия на них, это — литература XX века. В них мировосприятие и художественная культура, свойственные не тем далеким временам, а первым десятилетиям нашего столетия. Но с романтической литературой того времени, с литературой, в связи с которой Белинский сформулировал свое понимание романтизма, романтизм Чаянова имеет прямую связь — это его генетические корни.

Романтическая проза А. С. Пушкина, В. Ф. Одоевского, А. Погорельского (действие повестей которого «Изидор и Анюта» и «Лефортовская маковница» развертываются в том же Лефортове, что и в «Необычайных, но истинных приключениях графа Федора Михайловича Бутурлина» Чаянова, и в описаниях этой местности Чаянов использует детали из описаний Погорельского), а также переизданная в 1913 году, фактически открытая заново и обратившая на себя внимание публики повесть В. П. Титова «Уединенный домик на Васильевском», написанная на сюжет А. С. Пушкина и правленная им — вот истоки и классические образцы романтических повестей Чаянова, из этого русского гофманианства начала XIX века происходит и чаяновская гофманиада XX века.

Однако, учитывая влияние на Чаянова классической русской литературы, прекрасным знатоком которой он был, главной чертой его романтических произведений все же является их принадлежность к литературе XX века, к поискам и поэтике писателей-современников. В одной из статей 1911 года В. Я. Брюсов, сетуя на «потоп стихов», писал: «Неужели начинающие поэты не понимают, что теперь, когда техника русского стиха разработана достаточно, когда красивые стихи писать легко, поэтому самому трудно в области стихотворства сделать что-либо свое.

Пишите *прозу,* господа!

В русской прозе еще так много недочетов, в обработке ее еще так много надо сделать, что даже с небольшими силами здесь можно быть полезным». Совершенно ясно, что Брюсов имел в виду не русскую прозу вообще, а определенное ее направление — прозу модерна, прозу символизма, прозу «новой литературы» (термины очень приблизительные, но других нет), то есть направление, к которому он принадлежал сам и над созданием прозы которого много работал.

Литературное творчество Чаянова развивалось в том же — брюсовском — направлении. Брюсов, М. Кузмин, Б. Садовский, П. Муратов — особенно их историко-фантастическая проза — вот ряд, в котором нужно рассматривать творчество Чаянова. Впоследствии к ним прибавляются А. Н. Толстой, Е. Замятин, Л. Леонов (с его «Деревянной королевой»). Несомненно также решающее влияние прозы Брюсова на те повести Чаянова, действие которых происходит в современности.

Для прозы Чаянова характерно сочетание реализма и фантастики, это какая-то документальная фантастика.

Исторический фон повестей Чаянова необычайно точен: это относится к топографии Москвы, к названиям церквей и общественных зданий, к реальности маршрутов блужданий фантастических героев повестей по столице и к именам исторических личностей того времени: артистов, профессоров, вельмож и трактирщиков. Про большинство описанных Чаяновым мест, как в России, так и за границей, известно, что он там бывал, жил, так что в основе описаний лежат личные впечатления. И в этом исторически достоверном мире развертываются фантастические события.

Так же реален и мир будущего, изображенный в повести «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии». Про эту повесть прежде всего надо сказать, что утопия эта — социалистическая, она рассказывает о будущем социалистическом обществе, прошедшем в своем развитии трудный, противоречивый путь, но пришедшем не к крушению, а к утверждению социализма. При публикации повесть предваряло предисловие В. В. Воровского, в котором он критиковал «идеалы наших кооператоров», даже называл их «реакционными», но тем не менее признавал нужность и ценность сочинения Чаянова. (Воровский в то время был директором Госиздата, где одновременно с повестью печатались экономические работы Чаянова, в предисловии к одной из них Чаянов отмечает «энергичную поддержку Государственного издательства».)

В заключение предисловия Воровский пишет: «Но, может быть, спросят: если вы такой противник этой утопии, зачем же вы печатаете и распространяете ее? А вот зачем: эта утопия — явление естественное, неизбежное и интересное. Россия — страна преимущественно крестьянская. В революции крестьянство в общем идет за пролетариатом, как более развитым политически и более организованным собратом... В этой борьбе будут возникать разные теории крестьянского социализма, разные утопии. Одной из таких утопий и является печатаемая ниже. Она имеет те преимущества, что написана образованным, вдумчивым человеком, который, приукрашивая, как все утописты, воображаемое будущее, дает в основе ценный материал для изучения этой идеологии. Он пишет искренно то, во что верит и чего желает; это придает его утопии бесспорный интерес».

Сейчас, когда мы уже пережили тот временной рубеж, который был для Чаянова будущим — 1984 год — и знаем, что эра крестьянского кооперативного социализма не наступила, поражают многие частные его предсказания: путь развития советского изобразительного искусства — с его «лакировочным» реализмом, с «суровым стилем», увиденная героем повести в 1984 году картина «под Брейгеля-старшего» — «та же композиция с высоким горизонтом... те же коротенькие фигурки, но... на доске были написаны люди в цветных фраках, дамы с зонтиками, автомобили, и, несомненно, сюжетом служило что-то вроде отлета аэропланов» — словно является описанием какой-то картины, какие мы увидели в восьмидесятых годах в наших выставочных залах; много верного угадано в реконструкции Москвы и т. д.

В двадцатые годы про повести Чаянова критика не писала, им посвящены лишь несколько библиографических заметок. Складывается впечатление, что они вообще были вне литературной жизни своего времени. Однако первое же в критической, вернее, уже в литературоведческой литературе свидетельство о влиянии Чаянова на современную литературу, появившееся в статье М. Чудаковой «Условие существования» (В мире книг, 1974, № 12), посвященной библиотеке М. А. Булгакова, дает повод для любопытных и далеко идущих сопоставлений и размышлений. «Еще одна книга, изданная в том же 1922 году и, возможно, тогда же купленная,— пишет Чудакова,— долгие годы стояла в библиотеке Булгакова и пользовалась, по словам жены, особенной его любовью». Речь идет о повести Чаянова «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей». И далее Чудакова говорит: «Призрачность ночных московских улиц», «гнилой московский туман» и беготня героя (повести Чаянова.— *В. М.*) по этим улицам в дурную погоду — все это близко к атмосфере московских фельетонов-хроник Булгакова начала 20-х годов, а в первом варианте «Театрального романа», начатом и оставленном в 1929 году, можно видеть, кажется, следы влияния иных страничек «Венедиктова». Позже Чудакова также писала, что эта повесть «несомненно стимулировала замыслы и сюжетные ходы и «Мастера и Маргариты», и «Записок покойника».

Отметим еще, что во всех повестях Чаянова действие неизменно связано с Москвой. В 1928 году он так объяснил свой художественный подход к изображению Москвы: «Совершенно несомненно, что всякий уважающий себя город должен иметь некоторую украшающую его Гофманиаду, некоторое количество своих «домашних дьяволов». Это он написал к предполагаемому, но так и не осуществившемуся изданию сборника своих повестей.

Во второй половине 1920-х годов в стране возобладал волевой, административный подход к решению вопросов переустройства сельского хозяйства, не считавшийся ни с реальностью, ни с рекомендациями

науки. Взгляды Чаянова и его школы были объявлены антимарксистскими. Атмосфера сгущалась. Неудачи, прорывы в промышленности и сельском хозяйстве, неизбежные при невежественном администрировании, все чаще объяснялись вражескими провокациями и вредительством. Начались процессы над «вредителями», на скамью подсудимых попадали крупнейшие специалисты, против них выдвигались фантастические обвинения, и они признавались в не совершенных ими — Чаянов это понимал — преступлениях. Творилась страшная по своей нелепости и неотвратимости фантасмагория. И еще Чаянов понимал, что его обвинителям нет никакого дела ни до логики, ни до фактов, ни до научной истины. Другой великий русский ученый — А. Л. Чижевский в те же годы к старому своему стихотворению, излагающему его идею солнечно-земных связей, приписал новую строфу:

О ты, узревший солнечные пятна
С великолепной дерзостью своей,—
Не ведал ты, как будут мне понятны
И близки твои скорби, Галилей...

Галилеево решение принял и Чаянов: он выступил с признанием своих «ошибок».

В декабре 1929 года в Москве состоялась конференция аграрников-марксистов, на ней прозвучали обвинения Чаянова в том, что он ставит своей задачей реставрацию капитализма в СССР, что его «ни в коей мере нельзя переубедить и заставить мыслить марксистски». Его имя упомянул в своем выступлении Сталин: «Непонятно только, почему антинаучные теории «советских» экономистов типа Чаяновых должны иметь свободное хождение в нашей печати...»

21 июля 1930 года Чаянова арестовали. Это произошло в президиуме ВАСХНИЛ в Большом Харитоньевском переулке. Арестованы были и многие его друзья: Н. Д. Кондратьев, А. Н. Минин, Н. П. Макаров, А. А. Рыбников и другие.

Рассказ жены Чаянова Ольги Эммануиловны из ее письма в Президиум XXIII съезда КПСС:

«Его забрали 21 июля 1930 г. на работе в тот момент, когда он подготовлял материал Зернотреста к XV Партсъезду. И хотя, вследствие травли, которой он подвергался последний год, у него сильно сдала, больная и в спокойном состоянии, нервная система, вместо требуемого отдыха он с неослабевающей энергией и преданностью продолжал свою работу.

О том, что происходило в тюрьме, я могу рассказать только с его слов. Ему было предъявлено обвинение в принадлежности к «трудовой крестьянской партии», о которой не имел ни малейшего понятия. Так он и говорил, пока за допросы не принялся Агранов. Допросы вначале были очень мяг-

кие, «дружественные», иезуитские. Агранов приносил книги из своей библиотеки, потом просил меня передать ему книги из дома, говоря мне, что Чаянов не может жить без книг, разрешил продовольственные передачи и свидания, а потом, когда я уходила, он, пользуясь духовным потрясением Чаянова, тут же устраивал ему очередной допрос.

Принимая «расположение» Агранова к нему за чистую монету, Чаянов дружески объяснял ему, что ни к какой партии он не принадлежал, никаких контрреволюционных действий не предпринимал. Тогда Агранов начал ему показывать одно за другим *тринадцать* показаний его товарищей против него. Я не знаю подробностей обвинения. Знаю только, что кроме обвинения в ТКП повторялась клевета, которую он, опираясь на факты, опроверг будучи еще на воле.

Показания, переданные ему Аграновым, повергли Чаянова в полное отчаяние — ведь на него клеветали люди, которые его знали и которых он знал близко и много лет. Но все же он еще сопротивлялся. Тогда Агранов его спросил: «Александр Васильевич, есть ли у вас кто-нибудь из товарищей, который, по вашему мнению, не способен солгать?» Чаянов ответил, что есть, и указал на проф. эконом. географии А. А. Рыбникова. Тогда Агранов вынимает из ящика стола показания Рыбникова и дает прочитать Чаянову. Это было последней каплей, которая подточила сопротивление Чаянова. Он начал, как и все другие, писать то, что сочинял Агранов. Так он в свою очередь оговорил и себя.

Когда взамен оставшегося года (он был приговорен к 5 годам тюрьмы) его сослали на 3 года в Алма-Ата, и я приехала к нему туда, он мне рассказал все это.

Будучи аспиранткой в Третьяковской галерее, я проходила там аспирантскую практику, и как-то в ее залах я встретила А. А. Рыбникова. Он подошел ко мне и сказал, что давно хотел меня повидать, чтобы рассказать о своем предательстве, но что у него не хватило на это гражданского мужества. Что он не может себе объяснить, как это случилось, но он оболгал такого честного и чистого человека, как Чаянов, что на следующий же день он написал на имя следователя опровержение своим показаниям, но, по-видимому, это объяснение не было приобщено к делу. (Об этом я писала тов. Вышинскому в 1937 г. Мое заявление, по-видимому, где-то хранится.) Чтобы понять цену показаниям **Рыбникова** можно только прибавить, что он после приговора был переведен в лечебницу Кащенко, признан психически больным и отдан на руки жене.

Проф. Фабрикант, который в своих показаниях писал дикие небылицы, заболел психически во время следствия и до сих пор находится на учете психдиспансера.

Студенский во время следствия заболел психически и повесился в камере.

А. Н. Минин, который в своих показаниях оклеветал и себя и ближайшего друга А. В. Чаянова, передал через жену из лагеря тов. Вышинскому объяснение того, как и почему он давал ложные показания. Кстати, Минина несколько месяцев тому назад реабилитировали.

Проф. Н. П. Макаров в прилагаемой мной характеристике А. В. Чаянова пишет, что он оклеветал Чаянова, не выдержав тяжести следствия...»

У сына А. В. Чаянова — Василия Александровича сохранилась так называемая общая тетрадь в коленкоровом переплете, многие ее пожелтевшие страницы заполнены записями жидкими фиолетовыми чернилами — и не сразу узнаешь в этих лепящихся строчках почерк А. В. Чаянова, обычно четкий, характерный. Но это его записи: с одного конца тетради заметки по истории западноевропейской гравюры, с другой — наброски работы «Внутрихозяйственный транспорт. Материалы к пятилетке 1933—37 гг.». Тетрадь заполнялась в камере Бутырской тюрьмы. Может быть, он искал в работе отвлечения от кошмара следствия, может быть, надеялся, что это еще пригодится в будущем...

1—9 марта 1931 года под председательством Н. М. Шверника состоялся судебный процесс по делу «контрреволюционной организации «Союзного бюро» ЦК РСДРП (меньшевиков)». Обвинителем выступал прокурор РСФСР Н. В. Крыленко. Следствие по группе Кондратьева — Чаянова формально еще продолжалось, но его результат был уже предрешен.

В обвинительном заключении, представленном суду прокурором, задачи и деятельность «трудовой крестьянской партии» характеризовались как откровенно антисоветские и вредительские. ТКП называлась «кулацко-эсеровской группой Чаянова — Кондратьева», сообщалось, что «ТКП брала на себя организацию крестьянских восстаний и беспорядков, используя влияние кулацких элементов и колебание известной части середняков в вопросах об отношении к коллективизации сельского хозяйства; работу по снабжению восставших оружием и боевыми припасами и по доставке их в районы предполагаемых восстаний; работу по разложению частей Красной Армии, в особенности направленных для прекращения беспорядков в сельских местностях». Восстание, поддерживаемое иностранной интервенцией, по материалам, полученным следствием, должно было начаться в 1931 году. Говорилось о ТКП и в приговоре (перед вынесением которого Крыленко обратился к судьям с призывом: «Я прошу вас проявить максимальную жестокость по отношению к подсудимым»): «...кулацко-эсеровская партия Кондратьева — Чаянова взяла на себя организацию кулацких восстаний, снабжение повстанцев оружием и продовольствием, организационную контрреволюционную работу среди специалистов сельского хозяйства и вредительство в отраслях этого хозяйства».

По этому процессу члены ТКП в качестве обвиняемых не проходили.

Видимо, готовился специальный большой процесс. По сообщению газеты «Московские новости» от 16 августа 1987 года по делу ТКП было арестовано более тысячи человек, но процесс не состоялся, однако приговоры были вынесены. Чаянов был приговорен к пяти годам тюремного заключения и отправлен в Суздальскую тюрьму.

По воспоминаниям профессора Н. П. Макарова, в Суздальской тюрьме Чаянов мог заниматься и литературной работой: составил кулинарную книгу (наверняка она была с историческим уклоном: вспомним тему его доклада в «Старой Москве» — «О поварах Английского клуба»), написал исторический роман «Юрий Суздальский». Судьба этих рукописей неизвестна.

После четырех лет заключения в тюрьме Чаянов был отправлен в ссылку в Алма-Ату. Там он работал в сельскохозяйственном институте.

О его жизни и настроении некоторое представление может дать письмо С. А. Клепикову от 13 февраля 1936 года. Чаянов пытается шутить, что, мол, «Алма-Ата — это безводная Сахара для коллекционеров», что его «общество составляет кошка и «алма-атинская овчарка по кличке Динго», которую «соседнее население» зовет попросту Зинкой, но за шутками видны и усталость, и тревога. Клепиков прислал ему книги, и Чаянов пишет: «Тебя же прошу не забывать меня книгами, причем прошу поиметь в виду, что я впал в детство (видимо, от старости), из всех газет читаю «Комсомольскую правду» и очень почитаю все издания «Молодой гвардии», а из книг буду тебе безгранично благодарен за Дюма, Жюль Верна, Вальтер Скотта и им подобных. А впрочем, и за все остальное». Заканчивается письмо щемящим признанием: «Прости за легкомысленное послание, но я прямо опух от 12—14 часовой работы каждого дня... и, набрасывая эти строки, отвожу душу».

Осенью 1937 года Чаянов был снова арестован, 3 октября приговорен к расстрелу, в тот же день приговор приведен в исполнение.

Долгие десятилетия в советской экономической литературе имя Чаянова упоминалось лишь с определениями «контрреволюционер», «идеолог кулачества».

По делу 1937 года Чаянов был реабилитирован как незаконно репрессированный в 1956 году, по делу ТКП — «за отсутствием события или состава преступления», то есть было признано, что ТКП является целиком выдумкой следователей,— постановлением Верховного Суда СССР от 16 июля 1987 года.

Президент ВАСХНИЛ академик А. А. Никонов в интервью, данном журналу «Коммунист» (1988, № 1), реабилитацию имени Чаянова и возвращение народу трудов ученых его школы оценил как очень важный факт нашей современности. «Наша аграрная наука,— сказал А. А. Никонов,— за шесть-семь десятилетий прошла сложный и противоречивый

путь. Были такие подъемы, когда к нам в страну перемещались центры мировой науки. Это прежде всего связано с подвижнической деятельностью великого ученого нашего века Николая Ивановича Вавилова и его многочисленных соратников. Это связано с деятельностью блистательного таланта — Александра Васильевича Чаянова и группировавшейся вокруг него когорты выдающихся ученых; среди них Николай Дмитриевич Кондратьев, крупнейший знаток сельскохозяйственного рынка, автор известной теории экономических циклов, называемых в мировой литературе «циклами Кондратьева», Николай Павлович Макаров, Александр Александрович Рыбников, Александр Николаевич Челинцев и многие другие, чьи имена и сегодня с почтением произносят на всех континентах». Запрещение трудов Чаянова, сказал Никонов, «слишком дорого нам обошлось. Практически два поколения были полностью лишены ценнейшего научного наследия». Он говорил и о значении трудов Чаянова для сегодняшнего дня: «Идеи, обоснованные А. В. Чаяновым, переживают как бы свое второе рождение в наши дни».

Второе рождение предстоит и произведениям Чаянова-писателя.

Вл. Муравьев

История парикмахерской куклы, или Последняя любовь московского архитектора М.

Романтическая повесть,
написанная ботаником Х.
и иллюстрированная антропологом А.

I. ПРОЛОГ

Недуг, которого причину
Давно бы отыскать пора.

А. Пушкин

Московский архитектор М., строитель одного из наиболее посещаемых московских кафе, известный в московских кругах более всего событиями своей личной жизни в стиле мемуаров Казановы,— однажды, проходя мимо кофейной Тверского бульвара, почувствовал, что он уже стар.

Кофейная, некогда претворенная в одной из картин Юона, вечерняя фланирующая толпа и желтые ленты московских осенних бульваров, обычно столь радостные и бодрые, погасли в его душе. Осенняя сутолока города, автомобили Страстной площади, трамвайные звонки, вереницы проституток и мальчишки, продающие цветы, оставляли его безучастным.

Все замыслы, только что волновавшие его сердце, показались ему банальными, утомительно повторенными сотни раз, и даже вечерняя встреча, которой он добивался столько месяцев и которая должна была составить новое крупное событие в анналах его жизни, вдруг показалась ненужной и нудной... Одни только осенние листья, падающие с дерев и ложившиеся под ноги вечерних прохожих, глубоко проникали в его душу какой-то горестной печалью.

Он постоял минуту в нерешительности, машинально купил вечернюю газету, затем быстрыми шагами повернул на Тверскую и, дойдя до цветочного магазина Степанова и Крутова, послал огромный букет багряных роз той, чье сегод-

няшнее падение должно было вплести новые лавры в венок московского Казановы.

Ему не хотелось возвращаться домой, не хотелось снова видеть кресла красного дерева, елисаветинский диван, с которым связано столько имен и подвигов любви, ставших теперь ненужными; гобеленов, эротических рисунков уже безумного Врубеля, с таким восторгом купленных когда-то, фарфора и новгородских икон, словом, всего, что радовало и согревало жизнь.

Владимиру, его звали так, захотелось раствориться в кипящем котле жизни великого города. Он спустился на Петровку и привычными шагами, не отдавая себе отчета, зашел в маленькое артистическое кафе, кивнул знакомой барышне и спросил себе черного кофе с ватрушкой.

Кругом за столиками и в проходах толкались десятки знакомых лиц в смокингах, шелковых платьях, бархатных куртках и демократических пиджаках. Ему улыбались, но он, может быть, в первый раз оставался безучастным и, машинально слушая звуки скрипок, смешанные со звоном посуды, был захвачен потоком своих мыслей.

Двигающиеся перед ним люди казались ему картонными и давили его мозг безысходной тоской, и когда на эстраде появился изящный конферансье, с трудом установивший тишину и объявивший начало конкурсу поэтесс, Владимир не мог долее сдержаться и вышел из яркого кафе в темноту московских улиц.

Город с его ночною жизнью, ночные прохожие, полуосвещенные окна, огни притонов и четкий в ночной тишине стук копыт запоздалого извозчика душили Владимира своей известностью, своей до конца испитой знакомостью. Он окидывал тоскующим взором знакомые контуры ночных улиц столицы и, решившись испытать последнее средство против душившей его меланхолии, спустился к Трубной площади и в одном из переулков нашел знакомый ему китайский притон опиоманов.

Однако через несколько минут он уже бежал оттуда, еще более гонимый тоской.

«Извозчик, на Казанский!» — крикнул Владимир, вскакивая в пролетку.

После второго звонка он подбежал к билетной кассе, и в 12.10 ночной поезд унес его в Коломну. Владимир искал в провинциальной глуши собраться с мыслями.

II. КОЛОМНА

«А с того времени в оном никаких достойных примечания происшествий не случилось».

Коломенская историческая хроника

Коломна славится своею пастилой.

Современный путеводитель

Коломна, некогда славная твердыня, охранявшая окский берег от степных татарских набегов, а после — крупнейший центр хлебной торговли,— в наши дни жила сонной жизнью тихого провинциального города. Вековое молчание ее кремля нарушалось стоном гудков окрестных фабрик. Гармоника загулявшего мастерового изредка оглашала ее полусонные улицы. Но все же это был славный городок.

Ночной поезд с грохотом уносился на степной берег, оставив на темном перроне Владимира и каких-то двух озабоченных коммивояжеров.

Неуклюжий извозчик долго стучал и звонил у подъезда «Большой гостиницы» Ивана Шварева, пока заспанный швейцар не отворил дверей и провел посетителя в «роскошный» номер с зеленым бархатным диваном и кроватью за деревянной перегородкой. Коридорный сообщил, что кроме ветчины и пива достать ночью ничего невозможно.

Через несколько минут, поставив на стол обещанный ужин, он удалился. Стало тихо. Бесконечно тихо. На столе мерцали две свечи, отсвечивая на стекле стакана, желтой калинкинской бутылке и озаряя белый судочек с хреном и горчицей, традиционно поданный к ветчине.

Владимир молча ходил по ковру, и свежесть провинциальной ночи понемногу просветляла его сознание.

Наедине с собою он чувствовал до ужаса отчетливо, что он уже стар, что все, что заполняло его жизнь в течение многих лет, изжито им до конца, знакомо до пресыщенности.

Ему хотелось простых слов, провинциальной наивности, кисейных занавесок и герани.

В шкафу, куда повесил свое пальто, нашел он книгу, разорванную и забытую кем-либо из его предшественников. Это был «Ледяной дом» Лажечникова, повествова-

ние, вполне подходящее к жажде провинциальных впечатлений.

Владимир отрезал большой кусок ветчины, налил себе пива и начал пожирать страницу за страницей, запивая калинкинской влагой похождения сподвижников Петра.

Уже светало и давно пели петухи, когда он потушил свечи и лег спать.

III. РОМАНТИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

У Гальони иль Кальони
Закажи себе в Твери
С пармезаном макарони
Иль яичницу свари.

А. Пушкин

Было одиннадцать часов, когда Владимир проснулся и с изумлением оглянулся кругом.

По мостовой громыхала извозчичья пролетка на железном ходу, где-то на задах баритональный бас матерно и со смаком ругал какого-то Ваньку, и осеннее солнце просачивалось сквозь опущенные тяжелые сторы.

С трудом поняв случившееся и почувствовав себя еще более подавленным какой-то внутренней пустотой, Владимир нехотя поднялся, позвонил коридорного, приказал ему сбегать за мылом, зубной щеткой и где-нибудь раздобыть полотенце, а заодно принести самовар и калач с икрой, и начал одеваться.

Постепенно новизна положения начала его заинтересовывать, и через час, сидя за чаем, откусывая горячий калач и читая поданную ему афишу, из которой явствовало, что сегодня вечером в городском саду г.г. любителями будет исполнено в пользу вольно-пожарного общества на фонд приобретения моторной кишки комедия господина А. Чехова «Медведь» и будут петь госпожа Н. И***, он уже чувствовал себя заметно освеженным от московской тоски.

Городская площадь показалась ему немного более грязной, чем этого бы хотелось, зато пожарную каланчу он нашел построенною в строго выдержанном николаевском стиле, а двух гимназисток в белых чулках и козьих полусапожках весьма свежими и занятными.

Посидев полчаса у лимонадного павильона городского сада, весьма запыленного, но открывающего прекрасную речную панораму, Владимир узнал от полногрудой дамы, разливавшей лимонад, все городские новости и, получив практические советы, отправился осматривать город.

Прошел сквозь Пятницкие ворота, с которых князь Григорий Волхонский громил когда-то гетмана Сагайдачного, посетил храм Воскресения, начал уже зевать, но заметно оживился, заметя стройных монашек Брусенецкого монастыря. Вскоре, однако, его бесцельному фланерству был положен конец молодой незнакомкой в желтых ботинках, оранжевом платье, плотно облегающем стройный стан, и зеленой шляпе с пером.

Нагруженная покупками и защищающаяся от палящих солнечных лучей красным парасолем, она обронила продолговатый сверток и силилась поднять его, не разроняв другие.

Владимир поспешил на помощь и, получив благодарность и решительный отказ на предложение дальнейшего содействия, стал следовать в почтительном отдалении вплоть до маленького деревянного домика с террасой, увитой плющом, окнами, завешенными кисейной занавеской, и очаровательной геранью в банках на деревянных оконных скамейках.

От лавочника напротив он узнал, что ее зовут Евгения Николаевна Клирикова, что она жена ветеринарного врача, играет на гитаре и поет малороссийские песни.

Часы показывали три. Пора было возвращаться в гостиницу к заказанной стерляжьей солянке и гусю с капустой.

Размышления о начатом сентиментальном романе с ветеринаршей занимали мысли Владимира, когда он возвращался по уже знакомым улицам городка.

Вдруг он остановился как вкопанный. Знакомое чувство приближения волнующей страсти содрогнуло все его существо. Перед ним была «Большая московская парикмахерская мастера Тютина», сквозь тусклое стекло большого окна которой на него глядела рыжеволосая восковая кукла.

IV. ВОСКОВАЯ КУКЛА

Родившийся под знаком Рыб должен опасаться рыжеволосой женщины.

Гороскоп

Это была удивительная восковая кукла.

Густые змеи рыжих, почти бронзовых волос окаймляли бледное, с зеленоватым опаловым отливом лицо, горящее румянцем и алыми губами и в своей композиции укрепленное огромными черными глазами.

Несмотря на несколько грубое мастерство, во всем просвечивало портретное сходство. Было совершенно очевидно, что у этого воскового изваяния был живой оригинал, дивный, чудесный.

Все мечты Владимира о конечном женственном, о том, к чему все пройденные женщины были только отдаленным приближением, казалось, были вложены в это лицо. Коломна, госпожа Клирикова, монахини Брусенецкого монастыря и гостиничная солянка из стерляди, все было забыто в одно мгновение.

Аким Ипатович Тютин, пожилой уже мастер, когда-то работавший у Рулье на Арбате и там изучивший сложную науку куафера, весьма охотно согласился продать за 500 рублей свою рекламную куклу, доставшуюся ему за бесценок, и сообщил все, что мог, о происхождении воскового изваяния.

Месяца полтора назад в Коломну приезжал большой паноптикум «Всемирная панорама», где вместе с умирающим на поле брани офицером, невестой льва Клеопатрой, знаменитым убийцей Джеком Потрошителем показывались какие-то знаменитые сестры-близнецы, фамилию которых Тютин запамятовал.

Поразившая Владимира кукла и была одною из этих сестер, попавшей на витрину «Большой московской парикмахерской» нижеследующим образом.

Жозеф Шантрен, поджарый бельгиец, содержатель паноптикума, жил и столовался у Тютина. Дела паноптикума, вначале оживленные, шли неважно. Шантрен, снявши обильный урожай, не сумел уехать вовремя. Задержался какой-то романтической историей и увяз в долгах. Интерес к паноптикуму упал до нуля, случайные посетители приносили

гроши, и в конце концов несчастному бельгийцу пришлось ликвидировать свои дела продажей нескольких фигур.

«Клеопатру» купил за хорошие деньги для украшения гостиной недавно разбогатевший пароходовладелец К., а Тютин, пополам с зятем, державшим парикмахерскую в Серпухове, приобрели, в зачет долгов Шантреновых, сестер-близнецов и, разъединив их лобзиком, украсили окна своих заведений.

По сведениям Акима Ипатовича, Шантрен со всем своим скарбом отправился из Коломны в Москву.

Вечером того же дня, отдав должное гусю с брусникой, Владимир бережно укладывал в ящик восковой портрет поразившей его женщины, упихивая его со всех сторон ворохом газет и страницами, вырванными из недочитанного «Ледяного дома», сочиненного господином Лажечниковым.

Перед отходом поезда на перроне, среди дачной и гуляющей толпы, мелькнуло оранжевое платье и красный зонтик госпожи Клириковой. Владимир вспомнил о своем милом сентиментальном коломенском романе и при отходе поезда послал воздушный поцелуй, чем неприятно поразил кооперативного инструктора-счетовода Сахарова, с бóльшим правом считавшего госпожу Клирикову близкой к себе особой, чем мог это сделать московский архитектор.

V. ПОИСКИ НАЧИНАЮТСЯ

Аменофис в тот же час плывет к Кипру.

Госпожа де Фонтен

Владимиру М., воспрянувшему духом и вернувшемуся к жизни, потребовалось немало времени и усилий, чтобы найти Шантрена.

Его швейцар Григорий успел два раза съездить в Серпухов и купить у предприимчивого Тютинова зятя Королькова вторую рыжую куклу за 1500 рублей.

Серпуховской парикмахер, предупрежденный Тютиным, считал, что тесть продешевил, и взял «настоящую» цену, не подозревая, конечно, что М. заплатил бы и пять и шесть тысяч за необходимого ему воскового манекена.

Серпуховская голова, испорченная немного Корольковым, который продел ей в уши серьги, была еще красивее. Но в ней было меньше того женственного начала, которое так поразило Владимира в Коломне.

Поиски Шантрена, на которые были снаряжены несколько красных шапок, подвигались медленно.

В адресном столе он числился выбывшим в Коломну, в полиции на него лежал исполнительный лист московского купца Шаблыкина, а в профессиональном союзе артистов Варьете и Цирка Владимиру показали два корешка квитанционной книжки, свидетельствовавшие, что Шантрен два года платил членский взнос исправно, сказали также, что как будто года три назад он выступал как шпагоглотатель у Никитина, и больше ничего сообщить не могли.

Непреоборимое чувство тем временем разрасталось в его душе. Он затворился в своем кабинете, где рядом с пузатым шкафчиком александровской эпохи, на фоне старой французской шпалеры, стояли две восковых головы.

Рука М., водимая страстью, рисовала черты поразившего его лица в десятках все новых и новых поворотов. Поиски продолжались.

Владимир уже начал терять надежду, как вдруг ему пришла в голову гениальная мысль поместить публикацию в газетах.

Через три дня он уплатил по ста рублей пяти посетителям, указавшим ему местопребывание Шантрена, а на пятый день самолетский пароход «Глинка» доставил его в Корчеву, где на высоком берегу Волги белели палатки Шантренова паноптикума.

VI. ПАНОПТИКУМ «ВСЕМИРНАЯ ПАНОРАМА»

> Не мадам, а я те дам.
>
> *Провинциальный разговор*

Пожилая дама, продававшая билеты, объяснила, что господина содержателя в паноптикуме не находится, и продала за рубль оранжевый билет с правом входа в «физиологический зал», куда «дамы допускались отдельно от 2 до 3 часов ежедневно».

Ища убить минуты ожидания, Владимир углубился в рассмотрение выставленных фигур. Ему, казалось испытавшему все на свете, ни разу не случалось бывать в паноптикуме, и он с любопытством новизны рассматривал наивные фантомы.

Его поразила «Юлия Пастрана, родившаяся в 1842 году и жившая вся покрытая волосами подобно зверю до смерти», «Венера в сидячем положении» и длинный ряд восковых портретов бледных знаменитостей, начиная Джеком Потрошителем, кончая Бисмарком и президентом Феликсом Фором. Он опустил гривенник в какое-то отверстие и тем заставил мрачного самоубийцу увидеть в зеркале освещенное изображение изменившей ему невесты.

Шустрый малец сообщил ему, что «Осада Вердена» испортилась, но зато действуют «Туалет парижанки» и «Охота на крокодилов». Пожертвовав еще гривенник и повертев ручку стереокинематографа, Владимир, к своему стыду, заметил в себе некоторый интерес ко всей этой выставленной чепухе, подавляя который он отправился к кассирше узнавать, когда же вернется господин Жозеф Шантрен.

Пожилая дама, услыхав от незнакомца имя своего патрона, пришла в еще большее замешательство и сообщила неуверенным голосом, что господин Шантрен уехал неизвестно куда и не сказал, когда вернется.

По тону голоса было ясно, что она врет и что бельгиец, напуганный газетными публикациями о нем и имевший, наверное, немало поводов опасаться госпожи Немезиды, просто скрывается. Однако добиться чего-либо от бестолковой тетки было очевидно невозможным.

Пришлось действовать окольными путями, расспросить обывателей, где живет содержатель кукол, ввалиться в тот дом, где он квартировал, и снова столкнуться лицом к лицу с мадам Сухозадовой, которая продавала в паноптикуме билеты.

Пелагея Ивановна была вдова корчевского мещанина Сухозадова, обитала в небольшом домике на Калязинской улице, оставшемся ей от мужа, промышляла варкой варенья, ввиду чего состояла многолетней подписчицей «Русских ведомостей», почитая бумагу этой газеты наиболее перед всеми прочими бумагами подходящей для завязывания банок с произведениями ее труда.

Владимир М., сидя в просторной горнице с божницей икон палехского письма, украшенных венчиками из бумажных цветов, с половиками на чисто вымытом крашеном полу, с кроватью, покрытой лоскутным одеялом в клетку, — вдыхал запах розмарина и комнатных жасминов, стоящих на окнах, и старательно убеждал Пелагею Ивановну, что он вовсе не Шаблыкин и никакой иной купец или неприятель мусье Жозефа, а просто художник, желающий приобрести великолепную статую «Марии Стюарт, несчастной королевы Шотландской, входящей на эшафот», которая украшала собою паноптикум.

После двухчасового убеждения и документа за подписью управляющего государственным банком Пелагея Ивановна со вздохом взялась, наконец, «попробовать» передать господину Жозефу письмо от господина художника.

Вечером Шантрен заходил в номер паршивой гостиницы, где остановился М., где пахло щами и пивом и где щелкали биллиардные шары, сопровождаемые тяжелыми шутками партнеров.

Бельгиец не мог рассказать ничего путного, сообщил только адрес той гейдельбергской фабрики, где он купил партию последних фигур, и продал за пятьдесят целковых счет с бланком фирмы «Папенгут и сын в Гейдельберге», из которого явствовало, что за фигуру близнецов некогда было заплачено 300 марок.

Вечером же в рубке «Мусоргского» Владимир угощал себя и случайно встретившегося ему на пароходе литератора Ш. шампанским и был радостен, как никогда в жизни. Нить была найдена.

VII. ОТЪЕЗД

> Для сладкой памяти невозвратимых дней
> Не нахожу ни слез, ни пени.
>
> *А. Пушкин*

12 октября на перроне Александровского вокзала небольшая группа друзей, посвященных в перипетии нового романа московского Казановы, провожала Владимира с норд-экспрессом.

Швейцар Григорий вместе с несессерами, саками и двумя чемоданами глобтроттер привез аккуратно упакованный ящик с восковыми красавицами. За несколько минут до отхода поезда запыхавшийся мальчик от Ноева передал букет, завернутый в бумагу, и записку с настоятельной просьбой распечатать его после отхода поезда.

Друзья в стихах и прозе желали Владимиру влить горячую кровь в восковые жилы, и над Москвою уже раскрывалась ночь, когда поезд медленно отошел, оставляя за собой Ходынку, Пресню, Дорогомилово, Фили...

Пройдя по мягкому коридору международного вагона в свое купе, Владимир распечатал загадочный пакет. На подушки дивана рассыпались сухие розы того букета, который он послал единственной отдавшейся ему, но им не взятой женщины в памятный вечер, когда неведомое чувство толкнуло его в Коломну.

Он улыбнулся, выбрал один из цветов, остальные выбросил в окно. Сел и стал смотреть на убегающие дали. В Можайске прошелся два раза по перрону, велел подать себе в купе стакан кофе и лег спать.

VIII. ТАЙНА ПОНЕМНОГУ РАЗЪЯСНЯЕТСЯ

> **Тайна подобна замку, ключ от которого потерян.**
>
> *Эдгар По*

Директор-распорядитель фирмы «Папенгут и сын в Гейдельберге» оказался откормленным немцем лет на сорок пять и держался весьма важно и снисходительно.

Владимиру пришлось выслушать ряд сентенций о значении восковой скульптуры, о «Флоре» Леонардо да Винчи, хранящейся в Берлине в Кайзерфридрихмузеуме и стоящей на торговой марке фирмы Папенгут, о педагогическом значении паноптикума, столь мало оцениваемом государственными деятелями Европы, и только в конце концов ему было сказано, что, судя по предъявленному счету, Жозефу Шантрену была продана бракованная партия, так как в счете не проставлены №№ моделей, и что для определения

содержания изображения необходимо представить саму «скульптуру». На этом аудиенция окончилась, и на другое утро к воротам фабрики «Папенгут и сын в Гейдельберге» стремительный таксомотор, шурша по гравию шоссе, привез Владимира с его драгоценным ящиком.

Освобожденные от бумаги рыжеволосые медузы горгоны блеснули на солнце своими бронзовыми косами, и глубокий взор снова упал в самую глубину души московского архитектора.

Воцарилось молчание. Казалось, сам директор был поражен изделиями своей фабрики. Он надавил кнопку звонка и велел вошедшему груму позвать мистера Пингса, заведующего монтажной мастерской.

«Ведь это — те самые, мистер Пингс?» — обратился директор к вошедшему сухопарому американцу.

«Да, несомненно, те самые, шеф»,— ответил Пингс и открыл книгу заказов, которую директор передал Владимиру.

«Сестры Генрихсон, близнецы из Роттердама, 18 лет, показаны во многих цирках Старого и Нового света. В Париже в Цирк де Пари, в Лондоне в Пикадилли-Музик-Холл, сняты скульптурным мастером Ван Хооте в Гейдельберге».

Директор дал Владимиру списать в блокнот написанное и, закрыв книгу, добавил:

«Благодаря этой скульптуре мы лишились лучшего из наших мастеров. Когда нам стал известен этот феномен и его содержатель, будучи в Гейдельберге, предложил нашей фирме исключительное право репродукций за 2000 марок, то мы, ценя экстраординарность феномена, согласились заплатить означенную сумму и послали для съемки лучшего своего мастера — Ван Хооте.

Однако несчастный голландец, не имевший достаточной уравновешенности, воспылал неестественной страстью к одной из сестер Генрихсон и, окончив скульптуру, повесился».

Когда Владимир спускался по лестнице из конторы фирмы «Папенгут и сын в Гейдельберге», у него кружилась голова.

IX. В ПОИСКАХ РЫЖЕВОЛОСОЙ АФРОДИТЫ

Сердце мое билось...
Карамзин

Ни скудные указания конторы «Папенгут и сын в Гейдельберге», ни другие источники не могли дать Владимиру сведений сколько-нибудь точных о дальнейшей судьбе «сестер Генрихсон».

Было известно, что после трагической смерти Ван Хооте они поспешно покинули Гейдельберг, имели два выхода в цирке Шульце в Майнце, и это все... далее нить терялась, и всего вероятнее было предположить, что сестры покинули Германию или переменили свое театральное имя.

Публикации в самых распространенных газетах мира не дали никаких результатов, несмотря на значительность обещанных наград за какое-либо указание на местонахождение сестер-близнецов.

Три интернациональные бюро вырезок потрошили тысячи газет и театральных изданий на двадцати семи важнейших языках мира, опустошая хронику зрелищ, но не могли принести ни единой строчки, посвященной «сестрам Генрихсон».

Правда, имя «Генрихсон» было обычно в цирковых афишах, но в большинстве случаев под этим наименованием выступали укротители тигров, и ни разу терпеливым ножницам классификаторш не встречалось упоминание о загадочных сестрах.

Зато вырезки из старых газет содержали немало материала, правда, весьма однообразного. Владимир мог проследить все течение их карьеры. Имя сестер впервые появилось 15 мая 19.. года на афише кафешантана в маленьком бельгийском курорте Спа, затерявшемся в Арденнских горах, славном своей добродетельной скукой, водами, игрою в petits chevaux и «ликером Спа».

Далее сестры выступали в Льеже и Намюре; после чего их «открыл» талантливый антрепренер Гочкорс, и имя «сестер Генрихсон» украсило собою видное место афиш Пикадилли-Музик-Холла, парижских цирков и варьете крупнейших городов Старого и Нового света; они побывали

даже на арене цирка Соломонского в Москве, но после своего майнцского выхода пропадают бесследно.

За три протекшие года на цирковой арене вообще не появлялось аналогичных №№, и многие полагали, что сестры в силу какого-либо неблагоприятного стечения обстоятельств потеряли солидных антрепренеров и были вынуждены выступать в третьеразрядных цирках и паноптикумах, не имеющих печатных афиш и не помещающих газетных публикаций.

Разочаровавшись в систематических поисках и поручив их продолжение «Парижской конторе справок всякого рода, под фирмою «Исполнитель», Владимир принялся рыскать наудачу по всем европейским городам, большим и малым, веря в свое счастье и надеясь найти следы исчезнувших сестер.

Он сделался завсегдатаем цирка и паноптикума, в которые ранее не заглядывал.

Часами наблюдал, как на песке арены чередовались разодетая в зеленый шелк негритянка, с визгом пляшущая на канате, велосипедист, делающий мертвые петли, наездница, летающая в бешеных сальто-мортале над мерно галопирующими лошадьми, глупейшие пантомимы и остроумных клоунов, великолепного Пишеля и эффектную Монтегрю. Научился отличать талантливого акробата от бездарности, начал понимать совершенство выдержанного циркового стиля и тонкое искусство композиции цирковых программ.

Полюбил старинную цирковую традицию и неприятно воспринимал проявления циркового модернизма.

Познакомился с выдающимися артистами арены, с директорами цирков, встретил многих, видавших когда-то «сестер Генрихсон» и подтверждавших их очарование и полное сходство с восковыми бюстами, всегда сопутствующими М. в его путешествиях; однако никто из них не мог добавить ни одной новой строчки к собранным уже ранее материалам.

Только однажды, в Антверпене ему блеснула улыбка загадочной незнакомки.

Только что мелькнул в ослепительном блеске электрических ламп белый круп лошади, и мадемуазель Монтегрю, раскланиваясь, посылала прощальные поцелуи налево и направо, на арену выбежала рыжеволосая девушка, утопав-

шая в зеленых оборках, и стала извиваться в трудном номере «Женщина-Змея», перегибаясь махровым цветком на бирюзовом ковре, резким пятном брошенном на красный песок арены.

Сердце Владимира учащенно забилось, настолько велико было сходство артистки с восковым изваянием, но тщательное рассмотрение в бинокль установило и черты различия, и прежде всего — голубые глаза.

«Хороша, очень хороша,— произнес вслух его сосед — пожилой полковник,— но все же далеко ей до Китти Генрихсон!»

Нужно ли говорить, с каким жаром Владимир принялся расспрашивать полковника, о какой «Китти Генрихсон» он говорит, как безумно был рад он встретить почитателя своих сестер.

Почти всю ночь просидели они перед восковыми куклами в уютном номере «Библь-отель», и Владимир в упоении слушал длинные рассказы полковника о задумчивой Китти и бойкой Берте Генрихсон, таких умных и развитых, несмотря на свое уродство, столь различных и столь любящих друг друга. Полковник, четыре года потерявший их из виду, почитал их умершими или путем операции разъединенными и начавшими новую жизнь на скопленные своим уродством деньги.

Перед рассветом они расстались, и Владимир не сомкнул глаз в эту счастливую для него ночь.

X. НЕУДАЧА

Отрадно улетать в стремительном вагоне
От северных безумств на родину Гольдони...

М. Кузмин

Прошло полгода. Владимир не подвинулся ни на шаг в своих поисках. Безумные затраты, им производимые, расшатали его материальное благосостояние, а письма друзей увещевали бросить безумные бредни и возвратиться в Москву, где он найдет много нового и много новых.

Осунувшийся и постаревший, он снова ощутил, как-то гуляя по аллеям Пратера, старую московскую тоску, посмотрел грустными глазами вокруг и, со свойственной ему

решительностью, отрекся от своей страсти и перед возвращением домой решил поехать на месяц отдохнуть в Венецию, посмотреть Джорджоне, Тициана, старшего Пальму, портреты Морето и плафоны Теполо, покормить голубей на площади Святого Марка и вспомнить далекие дни своей первой любви, раскрывшейся ему в переливах горячего венецианского солнца.

XI. ВЕНЕЦИАНСКАЯ ВСТРЕЧА

Ты — читатель своей жизни, не писец:
Неизвестен тебе повести конец.

М. Кузмин

Задержавшийся в снегах около Понтебо, венский экспресс только на закате спустился на марчито и рисовые поля, орошаемые мутными водами реки По, и после полуночи прибыл на перрон венецианского вокзала.

Два американские паровоза тяжело дышали, вздрагивая всем своим металлическим телом и выпуская пары. Суетились путешественники, забирая свои портпледы, спокойно и деловито сновали носильщики. Агенты гостиниц выкрикивали названия своих отелей:

«Палас-отель», «Мажестик», «Альби», «Савой-отель»...

Владимир хотел остановиться обязательно в той гостинице, куда он двадцать лет назад прямо из рождественской Москвы привез Валентину, закутанную в зимнюю шубку, как будто еще всю запорошенную снежинками Петровского парка, по которому они катались перед отходом поезда.

Он, сколько ни силился, не мог припомнить названия отеля, пока перед его глазами не мелькнул ливрейный картуз с надписью «Ливорно-отель».

Несомненно, это был именно «Ливорно-отель», а комната была № 24.

Через минуту гондола уносила его по черным водам каналов великого города масок, призрачных зеркал, молчаливых дожей, героев Гольдони, персонажей Гоцци и великих венецианских живописцев.

Была пасмурная ночь, и тем более уютной показалась небольшая комната с пушистым ковром, кувшином воды,

огромной кроватью, старинным венецианским зеркалом и чашкою горячего какао перед мягкой кроватью.

Несмотря на вереницы всплывших вдруг воспоминаний, усталость брала свое, и Владимир, едва успев проглотить горячий напиток, сомкнул утомленные глаза.

Когда он проснулся, было уже поздно... Где-то ворковали голуби, доносились всплески вод канала, оклики гондольеров и крики уличных продавцов.

Яркие солнечные блики просачивались сквозь закрытые жалюзи и плыли в сладкой истоме по полу, наполняя солнечным туманом всю комнату.

Владимир блаженно потянулся, высвободился из одеяла, спустил ноги на ковер и быстро подошел к окну и поднял жалюзи.

Горячий венецианский полдень пахнул ему навстречу, и он чуть не вскрикнул от удивления.

На противоположной стороне канала стоял огромный балаган, и на нем красовалась огромная золотая вывеска:

Паноптикум-Американ. Ново! Чудо природы! Ново! Поразительный феномен! Сестры Генрихсон!

XII. СЕСТРЫ ГЕНРИХСОН

Тут весь театр осветился плошками, и зрители захлопали в знак удовольствия.

Карамзин

Когда Владимир подходил к пестро размалеванному входу «Паноптикум-Американ», для него уже не могло быть более никаких сомнений. На огромном белом плакате кричали яркими красками написанные две головы диковинных красавиц, живо напоминавшие ему давно знакомые черты.

Оживленная толпа волновалась у билетных касс. Женщины в черных кружевных накидках, солдаты в голубых мундирах, солдаты в черном, берсальеры, мальчишки, две русские экскурсантки, очевидно, учительницы из Елабуги, ищущие в паноптикуме сильных ощущений, два, три рабочих с длиннейшими шарфами, замотанными кругом шеи, немецкое семейство и прочие персонажи венецианской толпы.

На широком помосте два скарамуша били в барабан, а краснощекая Коломбина делала глазки бравому унтеру.

Представление было в полном разгаре, когда Владимир вошел в переполненный зрительный зал. Фокусник-китаец, только что вынувший из своего пустого барабана двенадцать тарелок с горячими макаронами и несколько бутылок Дольче-Спуманте, налил две стеклянные тарелки водою, обвязал веревкой и широким взмахом пустил их вертеться кругами вокруг себя, сопровождая их свистящий полет гортанным криком.

Владимир чувствовал, как учащенно билось его сердце, и знакомое чувство волнующей страсти, подобное тому, какое испытал он в Коломне при первом взгляде на восковую куклу, пронизывало все его существо.

Имя сестер Генрихсон стояло в программе непосредственно за китайцем Ти-Фан-Тай, и Владимир в сладостной истоме и с каким-то затаенным страхом ждал окончания изысканной китайской программы.

Китаец, захватывая одно за другим блестящие блюдца на кончики тростинок, заставлял их кружиться в быстром вращении, управляя трепетным бегом целого десятка тростей. Мерное вращение блюдец, под рокот струн несложного оркестра, заставило Владимира закрыть глаза во избежание головокружения.

Взрыв аплодисментов заставил его очнуться. Китаец кончил и уходил, прижимая руки к груди.

Молчаливые лакеи собрали его принадлежности и поставили на сцену двойной трон, сделанный в подражание египетскому стилю, и тотчас задвинули его ширмами с изображением ибиса, сфинксов и колоннами иероглифов.

За ширмами послышались шаги, и сбоку вышел маленький арабчонок в огромной белой чалме и бирюзовых шароварах и выразительно приложил палец к губам. «Тсс... Тсс...» — послышалось со всех сторон, и понемногу воцарилась тишина. За ширмами раздались звуки струн, и арабчонок быстро сложил створки.

Владимир, впившийся руками в ручки кресел, почувствовал, как участились удары его сердца и холодный пот выступил на лбу. Перед его глазами мелькнули два обнаженных тела, едва прикрытые нагрудниками и поясами египетских танцовщиц.

Знакомые змеи бронзовых волос ниспадали на роскошные формы зеленоватого опалового тела, черные глаза Берты растворили его душу, а красный рот дышал сладострастной улыбкой.

Он не видел, что, собственно, исполняли сестры, он не понимал даже, где он, все образы самого пылкого его воображения, самые смелые догадки были превзойдены действительностью.

Густые змеи рыжих, почти бронзовых волос окаймляли бледное, с зеленоватым отливом лицо, горящее румянцем и алыми губами и в своей композиции укрепленное огромными черными глазами, линии плеч, бедер и живота струились подобно изгибам тела диковинной Венеры великого Сандро.

Все мечты Владимира о конечном женственном, о том, к чему все пройденные женщины были только отдаленным приближением, казалось, были вложены в это тело.

Арабчонок задернул ширмы. Сестры пропали. Толпа неистовствовала.

Владимир встал и с удивлением посмотрел на кричащих людей.

«Зачем здесь эти хари! Подите вон! Убирайтесь!» — хотелось крикнуть, но он удержался и почти шатаясь направился к выходу.

XIII. РЫЖЕВОЛОСАЯ АФРОДИТА

На диване лежал корсет, доказательство ее тонкого стана, чепчик с розовыми лентами и черепаховый гребень.

Карамзин

Вечером того же дня Станислав Подгурский, содержатель паноптикума, австрийский поляк родом из Закопане, познакомил Владимира с «сестрами Генрихсон».

Голландки весьма чисто говорили по-немецки. Были любезны и очень скромно одеты в белое с пятнышками платье. На стене их комнаты висела какая-то выцветшая фотография семейной группы и мастерски по-цорновски писанный масляный портрет. На столе тускло блестел медный кофейник.

Разговор вначале не клеился. Владимиру хотелось скорее созерцать, чем рассказывать. Однако нужно было говорить.

Вскоре терпкий контральто Берты втянул его в оживленный разговор о цирковых знаменитостях.

Берта — та, чье восковое изображение так поразило Владимира в Коломне, была немного худее своей сестры, типичной немецкой красавицы. Ее лицо было даже менее красиво, чем спокойное классическое лицо Китти. Но какая-то пряность, какая-то недосказанная тайна пропитывала все ее существо.

Казалось, будто все, что она говорит и делает, было не настоящим, нарочным, произносимым только из учтивости к собеседнику и мало интересным ей самой.

Ее кажущаяся оживленность была холодна, и огромные глаза часто заволакивались тусклым свинцовым блеском. Казалось, что где-то там, вне наблюдения собеседника, у нее была иная жизнь, завлекательная, глубокая своим содержанием.

Впрочем, все это не мешало ей быть увлекательной собеседницей, а родинка на ее шее лучше всяких слов говорила о том, какая славная женщина была сестрой добродушной Китти.

Владимир, вначале смущенный неестественной близостью близнецов, вскоре перестал замечать ее и рассказывал о своих поисках. Удивил сестер своим напряженным к ним интересом.

Расстались они друзьями. Уходя, Владимир узнал, что портрет на стене, писанный в цорновской манере, изображает скульптора Ван Хооте.

XIV. ЗАРНИЦЫ

Под сенью пурпурных завес
Блистает ложе золотое.

А. Пушкин

Всю ночь Владимира душили кошмары. Он задыхался в змейных объятиях бронзовых кос. Влажные русалочьи руки обвивали его горящую шею, и терпкие, пьяные поцелуи

впивались в его тело, оставляя следы укусов вампирьих зубов.

Утром он уже отнес сестрам пучок магнолий и застал их веселых и улыбающихся за утренним кофе. Они задержали его у себя. Вечером он катал их в гондоле по Большому каналу. На другой день он снова был у них, чем вызвал видимое недовольство Подгурского.

Терпкий голос Берты, ее наивные песенки овладели им всецело и до конца. Они были единственная реальность, существующая для него, все остальное был дым.

Он опустошил антикварные лавки, украшая ожерельями зеленоватое тело и вплетая драгоценности чинквеченто в бронзовые косы.

Неестественная связь сестер и вынужденное постоянное присутствие Китти сначала смущали его. Но вскоре опытным сердцем уловив, как начала разгораться тлевшая в душе его подруги диковинная страсть, он забыл о Китти. Порывы его чувства, казалось, покоряли обеих сестер. И только однажды, когда он, забывшись, поцеловал обнаженное колено Берты, его глаза встретили полный ужаса взгляд Китти. Но это был только один миг. Вскоре весь мир потонул в бушующем океане страсти.

XV. КАТАСТРОФА

Osculaque insetuit cupide
luctantia linguis
Lascivum femori
supposuitigue femur...

P. Ovidius Naso[1]

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

[1] Жадно теснят языки в поцелуях друг друга,
И бедро, прижимаясь к бедру, разжигает страсть...

Овидий Назон

XVI. ЗАПИСКИ КИТТИ

Разбитое зеркало означает смерть.

Примета

1. Сентября. Венеция

Берта забылась в полусне.

Пользуюсь минутой записать чудовищное событие нашей жизни. Я никогда не думала быть писательницей, но события, окружающие меня, столь необычайны, дыхание смерти окружает нас со всех сторон, и роковая развязка, очевидно, приближается. Пусть же эти страницы послужат завещанием бедной Китти Ван Хооте, одной из несчастных «сестер Генрихсон» цирковой арены.

Я и сестра Берта родились близнецами, сросшимися своими бедрами, в зажиточной купеческой семье Ван Хооте в Роттердаме.

Роды матери были очень тяжелы, и отец, желая скрыть наше уродство и предполагая впоследствии разъединить нас операционным путем, отвез нас к двоюродной сестре нашей матери.

Однако хирурги отказывались делать операцию, говоря, что она угрожает смертью одной из нас. Матушка не могла оправиться от родов и вскоре умерла. Отец, не желавший себя сделать посмешищем в глазах своих клиентов и биржевых приятелей, воспитывал нас весьма тщательно, ни разу, впрочем, не заехав посмотреть на нас.

Вскоре он женился вторично и умер от случайной вспышки чумы, занесенной вместе с пряностями с острова Явы одним из пароходов его компании.

Его вдова, родившая уже после смерти мужа мальчика, ничего, или почти ничего, не знала о нашем существовании. Нотариус отца переслал тетушке небольшую сумму денег, завещанных на наше воспитание.

Однако через несколько лет и этот скудный источник нашего пропитания иссяк. Мы уже были готовы познакомиться с ужасами нищеты, когда содержатель проезжего цирка предложил нам вступить в число артистов его труппы, своим уродством зарабатывать хлеб насущный. После минутного колебания и слезных просьб тетушки мы, бывшие

тогда тринадцатилетними девочками, согласились и через неделю уже появились под именем «сестер Генрихсон» на подмостках кафешантана в Спа.

Не буду описывать нашей цирковой жизни, она так однообразна, так утомительно тосклива, особенно для нас, прикованных своим уродством к замкнутой комнатной жизни.

Однако мы не роптали. Всегда умели создать в комнатах своей кочевой жизни теплый семейный уют. Найти немногих преданных друзей. Я до сих пор вспоминаю антверпенского полковника, такого ласкового ко мне, с таким вниманием угадывавшего наши желания.

Мы не знали отцовской ласки, но он часто казался мне отцом. Я слышала, что и после он очень тепло отзывался о нас. Где-то он теперь, старый, добрый полковник Вотар! Иногда нас катали в коляске по тем городам, которые посещала наша труппа. Изредка посещали мы театры, забираясь в глубину ложи уже после открытия занавеса и уезжая до окончания спектакля.

Мы зарабатывали очень много и мечтали, скопив несколько десятков тысяч франков, навсегда покинуть арену и тихо вдали от людей окончить нашу жизнь.

Как вдруг, во время наших гастролей в Гейдельберге, крыло трагедии впервые развернулось над нами. Наш антрепренер убедил нас предоставить за очень большие деньги право репродукции «феномена сестер Генрихсон» фирме восковых кукол в Гейдельберге... Я забыла название этой фирмы.

Через два дня нам представили молодого скульптора, весьма умело и искусно занявшегося лепкой наших восковых изображений.

На беду, он очень понравился Берте, а песенки сестры окончательно свели его с ума.

Неестественная страсть художника к прекрасному уроду разгоралась подобно костру Ивановой ночи. Лихорадочный блеск в глазах сестры, учащенное биение ее сердца открывало в ней новое, незнакомое для меня существо. Тягостным мраком заволакивались глаза художника.

Гроза приближалась.

Трагическая развязка...

Берта просыпается. Кончаю.

3 сентября. Венеция

Продолжаю. Трагическая развязка оказалась более ужасной и более скорой, чем можно было думать.

Однажды вечером, когда атмосфера страсти сгустилась вокруг нас настолько, что я готова была, казалось, схватить топор нашего циркового плотника Жермена и, разрубив роковую связь свою с сестрой, выброситься в окно — художник, которого мы звали просто «милый Проспер» сказал свое полное имя «Проспер Ван Хооте».

Я не удержалась от крика. Двух вопросов было достаточно, чтобы всякие сомнения пропали. У наших ног лежал сын нашего отца, наш младший брат. Как безумный вскочил он на ноги и, схватившись за голову, выбежал за дверь.

Наутро мы узнали, что он повесился.

Сестра заболела нервной лихорадкой. По ее выздоровлении мы, связанные контрактом, еще два раза появились на арене в каком-то немецком городишке. Потом уехали сначала в Гент, а после в Брюгге, рассчитывая на свои сбережения прожить несколько лет спокойной, замкнутой жизнью.

Меланхолический перезвон брюггских колоколов, тишина улиц, почти безлюдных, и черные лебеди на темно-зеленой водной глади каналов стали для нас целительным бальзамом.

Первые месяцы мы сидели целыми днями у окна. Я перечитывала книги, а Берта безумными глазами смотрела на медленно плавающих лебедей и сотни раз повторяла четверостишье, когда-то написанное Проспером:

Черный лебедь, плывет над зеленой
    волной,
И качаются ветви магнолий.
Ты встречалась когда-то, я помню,
    со мной,
Но не помню, когда, и не помню,
    давно ли.

Так в небытии прошел год, другой... Глаза Берты стали улыбаться, она принялась за рукоделье и не раз опускала свои тонкие пальцы на струны лютни. На третий год наши сбережения стали приходить к концу, и пришлось подумать о «работе». Мы написали письмо одному старому другу.

Через неделю к нам явился человек в круглой шляпе, оказавшийся импрессарио Подгурским, подготовлявшим турне по портовым городам Средиземного моря. Берта заинтересовалась. Мы подписали очень выгодный контракт. Были вместе с паноптикумом в Гелиополисе и Александрии, посетили Алжир, два месяца прожили в Барцелоне, провели зиму в Палермо, и роковая судьба забросила нас в Венецию.

10 сентября. Венеция

Продолжаю. На третий день наших венецианских гастролей утром, причесывая свои роскошные бронзовые волосы, Берта выронила и разбила круглое зеркало... Мы с ужасом посмотрели друг на друга. Из всех ужасных примет эта была наиболее верной. А вечером того же дня Подгурский привел к нам московского архитектора Вольдемара М., давно уже искавшего познакомиться с нами.

Бледный, с черной ассирийской бородой, он казался человеком, продавшим свою душу дьяволу, а его говор, как и вообще у всех русских, говорящих по-немецки, был певуч и напоминал мне почему-то малагу, которую мы пили в Барцелоне.

Отчетливо помню этот проклятый вечер и ночь, когда сердце Берты билось иначе, чем обычно, совсем как в памятные гейдельбергские дни.

Казалось, дух Проспера ожил в этом северянине, казалось, тайная власть почившего несчастного брата над душою Берты была кем-то вручена этому бледному человеку с кошачьими манерами. Напрасны были мои слова и предупреждения, бессонные ночи и общие слезы, увлажнявшие общую подушку, и клятвы, даваемые на рассветах.

Страсть разгоралась, бурный поток увлекал все, и даже я, прикованная уродством к своей сестре, была как-то странно подхвачена ее волнами. Его слова, улыбки, прикосновения, как раскаленный металл, выжигали в нашем существе стигматы страсти. И вот однажды, когда я в бешенстве исступления впивалась зубами в подушку, Берта стала принадлежать ему.

Он бежал от нас среди ночи. Сестра пробыла три дня онемевшая, как камень. Потом очнулась. Гнала его прочь. Снова звала к себе. Он, бледный как смерть, лежал часами у ее ног, потом убегал, пропадал днями.

Потянулись месяцы бреда и сумасшествия... Мы почувствовали, что под сердцем Берты затеплилась новая жизнь. Цирк давно уехал. Вольдемар заплатил за нас огромную неустойку Подгурскому.

21 сентября. Венеция

Берта бредит вторую ночь. Доктора боятся тяжелых родов. Говорят о нашем с сестрой операционном разделении. Вольдемар ходит как помешанный. Берта, когда просыпается, гонит его прочь. Ночью в бреду зовет Проспера.

23 сентября

Сегодня я очнулась и вскрикнула. Берты не было рядом. Моя правая рука была совершенно свободна. Доктора говорят, что у Берты родилась девочка и она в другой палате.

29 сентября

Наконец мне рассказали все. Уже неделя, как Берты нет в числе живых. Когда начались роды, нас разъединили. Опасались, что начавшийся сепсис будет смертелен и для меня. Боже! Дай мне пережить все это.

30 сентября. Венеция

Я еще так слаба. Сегодня мне показали мою маленькую красную всю племянницу. Говорят, когда началась агония, Берта прогнала Вольдемара и приказала уехать из города.

Я поняла ее порыв и просила доктора, в случае, если Вольдемар вернется, сказать ему, что мы умерли все,— и Берта, и я, и маленькая Жанета. Когда я поправлюсь, мы уедем далеко, далеко, и никто, никогда не расскажет Жанете о страшных призраках ее происхождения.

XVII. БЕЗУМИЕ

Агрономическая помощь населению была в Италии, быть может, нужнее, нежели в какой бы то ни было иной стране.

А. Чупров

Владимир М., исполняя предсмертное приказание Берты, почти качаясь от усталости, с безумными горящими глазами, побрел на вокзал, сел в первый отходящий поезд, который куда-то его повез.

Это был необычайный для него поезд. В нем не было иностранцев. Приземистые, коренастые культиваторы громко смеялись и разговаривали о суперфосфатах, о дисковых боронах Рандаля, ругали своего агронома, почтительно отзывались о каких-то Бицоцеро, Луцатти и Поджо и поносили, сплевывая на пол, породу рогатого скота, называя ее бергомаско.

Поезд остановился в Пьяченце, земледельческом центре Итальянского севера.

Это была закулисная Италия. Та, которая составляет действительную нацию и которая совершенно неизвестна иностранцу.

Итальянцы любят мечтать о «Третьем Риме». Если первый был Римом античности, второй — Римом пап, то третий Рим будет Римом кооперации, усовершенствованной агрономии и национальной промышленности итальянской демократии.

Однако Владимиру М. до всего этого не было никакого дела, и он уныло бродил в Пьяченце по сельскохозяйственной выставке, смотря откормленных тучных быков, скользя глазами по пестрым агрономическим плакатам и машинально слушая пылкие речи какого-то каноника о преимуществах английского дренажа для вечнозеленых марчито.

Наскучив однообразным и скучным зрелищем трудовой земледельческой культуры, Владимир переехал в Павию и близко около нее нашел небольшой монастырь Чертоза, приспособленный для выделки ликера.

Пышные барочные часовни, тонкие и легкие колоннады монастырских двориков, розарии, полные благоухания, дали ему возможность собраться с мыслями.

Блуждающий взор приобрел осмысленность, и через четыре дня он уже нашел в себе силы вернуться в Венецию. С покорностью выслушал весть о смерти сестер и своей дочери и, сразу сгорбившись и постарев, направился к вокзалу, не имея сил оставаться в городе, ставшем гробницей его счастья.

Когда черная гондола везла его по узким каналам,— вечерело. Роскошная жизнь пенилась и звенела над Венецией.

XVIII. СНОВА В МОСКВЕ

В конце мая 1694 года госпожа Савиньи
совершила последнее путешествие в Гриньян.

«Плутарх для девиц»

Курьерский поезд медленно подошел к московским перронам. Мелькнули Триумфальные ворота, дутики, Тверской бульвар. Владимир М. вернулся в свою старую квартиру в переулке между Арбатом и Пречистенкой.

Владимир с грустью посмотрел на кресла красного дерева, елисаветинский диван, с которым связано столько имен и подвигов любви, ставших теперь ненужными, на гобелены, эротические рисунки уже безумного Врубеля, с таким восторгом купленные когда-то фарфор и новгородские иконы, словом, на все то, что некогда радовало и согревало жизнь.

Его состояние, некогда значительное, было разрушено до основания.

Пришлось продать эротические гравюры, некоторую мебель и великолепного новгородского «Флора и Лавра» с красной по синему пробелкой и поразительными пяточными горками.

Владимир чувствовал себя манекеном, марионеткой, которую невидимая рука дергала за веревку. Друзья его не узнавали. Он вел замкнутый и нелюдимый образ жизни. Заказы, однако, он принимал, и этот последний период его деятельности подарил Москве несколько причудливых и странных зданий.

XIX. ПРИЗРАК АФРОДИТЫ

Ты сладострастней, ты телесней
Живых, блистательная тень.

Баратынский

Прошло более года. Владимир прогуливался по дорожкам Александровского сада. Следил безразличным взглядом весенние влюбленные пары и гимназистов, зубрящих к экзамену.

Поднял голову, посмотрел на полосу зубчатых Кремлевских стен, озаренных заходящим солнцем, и всем существом своим почувствовал приближение смерти.

Ему болезненно захотелось еще раз дышать горячими лучами венецианского солнца, услышать всплески весла в ночной воде канала.

Он мысленно подсчитал не оплаченные еще долги и, махнув рукой, решил поехать в Венецию.

Когда венский экспресс, по обыкновению запоздавший, спускался в итальянскую долину, в марчито и рисовые поля, орошаемые мутными водами реки По, уже вечерело, и только после полуночи прибыл он на перрон венецианского вокзала.

Два американские паровоза, тяжело дыша, вздрагивали всем своим металлическим телом, суетились путешественники, спокойно и деловито сновали носильщики, перетаскивая портпледы и чемоданы. Агенты гостиниц выкрикивали названия своих отелей:

«Палас-отель»! «Мажестик»! «Альби»! «Савой-отель»! Все было до ужаса повторно.

Владимир остановился в № 24 «Ливорно-отель».

Когда он проснулся, было уже поздно... Где-то ворковали голуби, доносились всплески вод канала, оклики гондольеров и крики уличных продавцов. Все было зловеще повторно. Все трепетало в какой-то саркастической улыбке Рока.

Владимир спустил ноги на ковер и медленно подошел к окну, поднял быстрыми движениями жалюзи и вздрогнул, содрогнувшись от ужаса.

Перед ним на противоположном берегу канала, там, где некогда стоял паноптикум, он увидел огромное витро роскошной парикмахерской, сквозь зеленоватое стекло которого

на него смотрели восковые головы сестер Генрихсон, забытые им когда-то во время бегства из Венеции.

Зловещие куклы смотрели в его опустошенную душу своими черными глазами, оттененными зеленоватым опалом тела и рыжими, почти бронзовыми змеями волос.

Владимир опустился на пол и, припав лбом к мраморному подоконнику, заплакал.

XX. SIC TRANSIT GLORIA MUNDI

В московской квартире М. толстые слои пыли покрывали кресла красного дерева, елисаветинский диван, пузатые шкафчики александровской эпохи и два тома Паладио, забытые на диване.

Старая крыса наконец прогрызла плотную стенку письменного стола и принялась за пачку писем. Узкая шелковая лента лопнула, и письма, набросанные тонким почерком женских рук, рассыпались по ящику. Крыса испугалась и убежала.

Вот и все, господа.

Барвиха на Москве-реке
Август 1918 г.

Венедиктов, или достопамятные события жизни моей

Романтическая повесть,
написанная ботаником Х.,
иллюстрированная фитопатологом У.

Мечте возрожденной

Глава I

С недавних пор Плутарх сделался излюбленным и единственным чтением моим. Сознаться должен, что подвиги аттических героев немного однообразны, и описания бесчисленных битв не раз утомляли меня. Сколько, однако, неувядаемой прелести находит читатель в страницах, посвященных благородному Титу Фламинину, пылкому Алькибиаду, яростному Пирру, царю эпирскому, и сонму им подобных.

Созерцая жизни великие, невольно думаешь и о своей, давно прожитой и тускло догорающей ныне.

Гуляя по вечерам по склонам берегов москворецких, смотря, как тени от облаков скользят по лугам Луцкого, как поднимается лениво барвихинское стадо, наблюдая яблони, ветви которых гнутся от тяжести плодов, вспоминаешь весенние душистые цветы, дышавшие запахом сладким на этих же ветвях в минувшем мае, и ощущаешь чувственно, как все течет на путях жизни.

Начинаешь думать, что не в сражениях только дело и не в мудрости философов, но и в букашке каждой, живущей под солнцем, и что перед лицом господа собственная наша жизнь не менее достопамятна, чем битва саламинская или подвиги Юлия.

Размышляя так многие годы в сельском своем уединении, пришел я к мысли описать по примеру фернейского философа жизнь человека обыденного, российского, и, не

зная в подробности чьей-либо чужой жизни и не располагая библиотеками, решил я, может быть, без достаточной скромности, приступить к описанию достопамятностей собственной жизни, полагая, что многие из них небезлюбопытны будут читателям.

Родился я в дни великой Екатерины в первопрестольной столице нашей, в приходе Благовещения, что в Садовниках. Отца своего, гвардии полковника и сподвижника Чернышева в знаменитом его набеге на Берлин, я не помню. Матушка, рано овдовев, проживала со мною в большой бедности, где-то в Больших Толмачах, проводя лето в Кускове или у дальних родственников наших Шубендорфов, из которых Иван Карлович заведовал конским заводом в голицынской подмосковной Влахернской, Кузьминки тож, которую, впрочем, сам старый князь любил называть просто Мельницей.

С годами удалось моей матушке, со старанием великим и не без помощи знакомых и товарищей покойного батюшки, определить меня в Московский университетский благородный пансион, о котором поднесь вспоминаю с благоговением. Ах, друзья мои! могу ли я передать вам то чувство, которое питал и питаю к Антону Антоновичу, отцу нашему и благодетелю. Поклонам и танцам обучал меня Ламираль, а знаменитый Сандунов руководствовал нашим детским театром.

В 1804 году, в новом синем мундире с малиновым воротником, обшлагами и золотыми пуговицами, принял я на торжественном акте из рук куратора шпагу — знак моего студенческого достоинства.

Не буду описывать дней моего первого года студенческого. Детище Шувалова, Мелиссино и Хераскова воспето гениальным пером шевыревским, и не мне повторять его. Замечу только, что я уже полгода работал у профессора Баузе над изучением древностей славяно-русских, когда жизнь моя вступила в полосу достопамятных событий, повернувших ее в сторону от прошлого течения.

В мае 1805 года возвращался я из Коломенского с Константином Калайдовичем, рассеянно слушал его вдохновенные речи о Холопьем городке и значении камня тмутараканского, а больше следил за пением жаворонков в прозрачном высоком весеннем небе. Вступив в город и расставшись со спутником своим, почувствовал я внезапно гнет над своей

душой необычайный. Казалось, потерял я свободу духа и ясность душевную безвозвратно и чья-то тяжелая рука опустилась на мой мозг, раздробляя костные покровы черепа. Целыми днями пролеживал я на диване, заставляя Феогноста снова и снова согревать мне пунш.

Весь былой интерес к древностям славяно-русским погас в душе моей, и за все лето не мог я ни разу посетить книголюба Ферапонтова, к которому ранее того хаживал нередко.

Проходя по московским улицам, посещая театры и кондитерские, я чувствовал в городе чье-то несомненное жуткое и значительное присутствие. Это ощущение то слабело, то усиливалось необычайно, вызывая холодный пот на моем лбу и дрожь в кистях рук,— мне казалось, что кто-то смотрит на меня и готовится взять меня за руку.

Чувство это, отравлявшее мне жизнь, нарастало с каждым днем, пока ночью 16 сентября не разразилось роковым образом, введя меня в круг событий чрезвычайных.

Была пятница. Я засиделся до вечера у приятеля своего Трегубова, который, занавесив плотно окна и двери, показывал мне «Новую Киропедию» и говорил таинственно о заслугах московских мартинистов.

Возвращаясь, чувствовал я гнет нестерпимый, который обострился до тягости, когда проходил я мимо Медоксова театра.

Плошки освещали громаду театрального здания, и оно, казалось, таило в себе разгадку мучившей меня тайны. Через минуту шел я маскарадной ротондой, направляясь к зрительному залу.

Глава II

Спектакль уже начался, когда я вошел в полумрак затихшего зрительного зала. Флигеровы лампионы освещали дрожавшие тени дворца Аль-Рашидова. Колосова, послушная рокоту струн, плыла, кружась в амарантовом плаще. Колосова — царица на сцене, и я готов был снова и снова кричать ей свое браво.

Однако и она, и все сказочное видение калифова дворца рассеялись в душе моей, когда я опустился в отведенное мне кресло второго ряда. В темноте затихшего зала почувст-

вовал я отчетливо и томительно присутствие того *значительного и властвующего,* перед чем ниц склонялась душа моя многие месяцы. Вспомнилось мне неожиданно и ясно, как в детстве тетушка Арина показала мне в переплете оконной рамы букашку, запутавшуюся в паутине и стихшую в приближении паука.

«Браво!! Браво!!» Колосова кончила, и хор пиратов описывал владыке правоверных прелести плененных гречанок. Я уселся плотнее в кресло и, уставив зрительную трубу на сцену, пытался побороть в себе гнетущее меня чувство.

В тесном кругу оптического стекла, среди проплывающих мимо женских рук и обнаженных плеч, открылось мне лицо миловидное, с напряжением всматривающееся в темноту зрительного зала.

Родинка на шее и коралловое ожерелье на мерно подъемлющейся дыханием груди на всю жизнь отметили в моей памяти это видение.

Томительную покорность и страдание душевное видел я в ее ищущем взоре. Казалось мне ясно, что и она и я покорны одному кругу роковой власти, давящей, неумолимой.

На минуту потерял я ее в движении сцены и по своей близорукости не сразу мог найти без зрительной трубы.

Меж тем сцена наполнилась новыми толпами белых и черных рабынь, и вереницы pas des deux сменились сложными пируэтами кордебалета.

Вдруг голос мучительно терпкий пронизал всю мою душу, и в нем снова узнал я ее, и снова всплыло ее чарующее лицо, белыми локонами окаймленное, в оптическом круге зрительной трубы моей.

Голос глубокий и преисполненный тоскою просил, казалось, умолял о пощаде, но не калифа правоверных, не к нему обращался он, а к властителю душ наших и я отчетливо чувствовал его дьявольскую волю и адское дыхание совсем близко в темноте направо.

Занавес упал. Акт кончился. Ищущий взор мой скользнул по движущимся волнам синих и черных фраков, по колышущимся веерам и сверкающим лорнетам, шелковым канзу и кружевным брабантским накидкам и остановился. Ошибиться было невозможно. Это был он!

Не нахожу теперь слов описать мое волнение и чувства этой роковой встречи. Он, роста скорее высокого, чем низкого, в сером, немного старомодном сюртуке, с седеющими

волосами и потухшим взором, все еще устремленным на сцену, сидел направо в нескольких шагах от меня, опершись локтем на поручни кресла, и машинально перебирал свой лорнет.

Кругом него не было языков пламени, не пахло серой, все было в нем обыденно и обычно, но эта дьявольская обыденность была насыщена *значительным и властвующим.*

Медленно, устало отвел он свой взор от сцены и вышел в коридор. Я, как тень, как аугсбургский автомат, следовал за ним, не смея приблизиться, не имея сил отойти прочь.

Он не заметил меня. Рассеянно бродил по коридорам, и когда театральная толпа, покорная звону невидимых колокольчиков, стала снова наполнять зрительный зал, остановился, невидящим взором обвел пустеющее фойе и начал спускаться по внутренним лестницам театра.

Следуя за ним, шел я по незнакомым мне ранее внутренним переходам, тускло освещенным редкими свечами фонарей. Коридоры темные и серые, поднимающиеся куда-то внутренние лестницы, стены, впитавшие в себя тени Медокса, казались мне лабиринтом минотавра.

Неожиданно блеснула полоса яркого света. Открылась дверь, и женщина, закутанная в складки тяжелого плаща, вышла к нам вместе с потоками света. Оперлась рассеянно и молча на протянутую им руку и, шурша юбками, быстро прошла мимо меня и скрылась в поворотах лестницы.

Я узнал ее. Я знал теперь даже ее имя: в афише значилось, что первую рабыню поет Настасья Федоровна К.

Глава III

Призрачность ночных московских улиц несколько освежила меня. Я вышел из театра и видел даже, как черная карета, увозившая Настасью Федоровну, показавшаяся мне исполинской, скрылась за углом церкви Спаса, что в Копье, направляясь куда-то по Петровке.

Я люблю ночные московские улицы, люблю, друзья мои, бродить по ним в одиночестве и не замечая направления.

Заснувшие домики становятся картонными. Тихий покой садов и двориков не нарушает ни шум моих шагов, ни лай проснувшейся дворовой собаки. Немногие освещенные окна

полны для меня тихой жизни, девичьих грез, одиноких ночных мыслей.

Смотрю, как церковки думают свою думу, в пустых улицах часто неожиданно всплывают то мрачные колоннады Апраксиновского дворца, то уносящаяся ввысь громада Пашкова дома, то иные каменные тени великих екатерининских орлов.

Впрочем, в эту ночь моя встревоженная душа была чужда спокойных наблюдений. Неотступные мысли о дьявольских встречах угнетали меня. Я даже не думал. Во мне не было движения мыслей, я просто был, как в воду, погружен в стоячую, недвижную думу о незнакомце.

Сильный толчок заставил меня остановиться. В своем рассеянии я столкнулся плечом в сыром тумане с высоким рослым офицером, который пробормотал какое-то проклятие.

В московском тумане он казался мне гигантского роста. Старомодный мундир придавал ему странное сходство с героями Семилетней войны.

«Ах, это вы!» — сказал колосс, смерив меня пронизывающим взором, и, хлопнув наружной дверью, вошел в ярко освещенный дом.

В каком-то столбняке смотрел я, ничего не понимая, на сверкающие в ночной темноте, отпотевшие изнутри окна. Наконец понял, что стою против Шаблыкинского постоялого двора, и отошел в сумрак улиц.

Я снова впал в задумчивость, мысли застывали, как мухи, попавшие в черную патоку, и все чувства бесконечно ослабли. Одно только чувствование обострилось и утончилось сверхъестественно, и я сквозь гнилой московский туман ясно ощущал, что где-то по улицам гигантская черная карета возит незнакомца, то приближаясь, то отдаляясь от меня. Желая оторваться от навязчивого ощущения, я сильно тряхнул своею головой и вдохнул полною грудью ночной воздух.

Налево вырисовывалась черным силуэтом ветла. Впереди терялась во мраке полоса Камер-Коллежского вала. За ним сонно надвинулись напластования марьино-рощинских домиков. Дымился туман, было далеко за полночь.

Я уже соображал прямую дорогу, желая направиться домой. Думал разбудить Феогноста и велеть ему заварить малину и согреть пунш, как вновь почувствовал, что припа-

док возобновился, и во мраке улиц вновь ощутил я приближение черной кареты. Хотел бежать. Но мои ноги вросли в землю, и я остался недвижным. Чувствовал, как, поворачивая из улицы в улицу, близился страшный экипаж. Мостовая дрожала с его приближением. Холодный пот увлажнял мой лоб. Силы покидали меня, и я принужден был опереться о ствол ветлы, чтобы не упасть.

Прошло несколько томительных минут, и справа показалась чудовищная карета. В дрожащем голубом свете ущербной луны ехала она по валу, раскачиваясь на своих рессорах. На козлах сидел кучер в высоком цилиндре и с вытаращенными стеклянными глазами.

Карета поравнялась со мною. Дверца ее внезапно открылась, и женщина, одетая в белое, держа что-то в руках, выпала из нее на всем ходу и, запутавшись в платье, упала на землю. Карета немного отъехала, круто повернула и остановилась. Кузов ее неестественно сильно наклонился набок.

Незнакомец вышел и быстро подошел к женщине. Настенька, это была она, вскочила и с криком: «Нет у вас больше надо мною власти!» — побежала к пруду... Не имея сил добежать, она подняла предмет, бывший у нее в руках, над головою и, бросив его с размаху в воду, упала. Гнилая ночная вода пруда поглотила брошенное.

Незнакомец приближался. Рыдания Настенькины наполнили мою душу ужасом, и готов я был броситься к ней на помощь, но не смог сделать ни шагу и снова почувствовал себя в безраздельной его власти и, как заговоренный, стоял у ветлы.

«Эй, ты!» — услышал я его властный голос, и ноги мои пошли к нему.

Не помню, как мы подняли с земли мою Настеньку, как уложили ее в карету, как сел я с ней рядом, как тронулась карета. Помню только, что долго видел я, отъезжая в ночном тумане, сгорбленную фигуру незнакомца, стоящего у берега пруда и упорно ищущего что-то, наклоняясь.

Глава IV

Марья Прокофьевна всплеснула руками, когда внес я Настеньку в ее домик на берегу Неглинки, совсем у церкви Настасии Узорешительницы.

Добрая женщина, царство ей небесное, засуетилась. Уложили мы Настеньку на диван, под часы карельской березы. Марья Прокофьевна отослала меня самовар ставить, а сама облегчила Настеньке шнуровку.

Долго не могли привести мы ее в чувство. Настенька, бедная, плакала, несуразные вещи всякие во сне говорила.

Стало светать. Третьи петухи запели, как пришла она, родная голубушка, в себя, улыбнулась нам и заснула спокойно. Сквозь кисейные занавески и ветви розмарина, стоящего по окнам, розовела утренняя заря. Марья Прокофьевна потушила свечу, ставшую ненужной. Ровное, спокойное дыхание Настеньки поднимало ее грудь, золотистый локон рассыпался по тонкому полотну подушки. Часы тикали особенно значительно и спокойно в утренней тишине. У Спасовой, что в Копье, церкви ударили к заутрене.

Я с сожалением поднялся со стула и стал разыскивать свою шапку, собираясь уходить. Однако Марья Прокофьевна меня не отпустила и очень просила вместе с ней выкушать утренний кофий. Добрая женщина встретила меня как давнишнего знакомого, хотя допрежде того мы никогда не встречались.

Никогда не забуду я этого дня, все мне в нем памятно. И половики на лаковом полу, и клавикорды с раскрытой страницей Моцартовой, и горка с фарфоровой и серебряной посудой... Но больше всего в памяти остался глубокий диван со спинкой красного дерева, по которой лениво и сонно плыли блики утреннего солнца, и силуэтные профили, тонко рисованные тушью по перламутру и висевшие в затейливых рамках над диваном.

Марья Прокофьевна наливала мне из медного пузатого кофейника третью чашку и в пятый раз заставляла рассказывать, как я спасал Настеньку, когда скрипнула дверь, и она сама вышла к нам из спальни в розовом капотике и вся зардевшись от слышанных слов моих.

Глава V

Уже вечерело, когда я шел по Петровке, направляясь к Арбату и держа в руках синий, небольшого формата конверт, на котором Настенькиной рукой было написано: «Гос-

подину Петру Петровичу Венедиктову в собственные руки в номера Мадрид, что на Арбате».

Конверт надушен был терпким запахом фиалок, а в моей душе намечалось странное чувство ревности, на которую не имел я никакого права.

Шел я в рассеянности, и у Петровских ворот чуть не сшибли меня с ног кареты знатных посетителей, съезжавшихся в Английский клуб. Монументальная белая колоннада клуба, окаймленная золотом осенних листьев, принимала подъезжавших посетителей. Ленты осенних бульваров, полные яркой радости, подчеркивали синеву неба. Сгустки облаков застыли над Москвой. Золото осени падало на новую московскую Данаю, медленно шедшую передо мною по аллее, кого-то поджидая. На ней было синее канзу, а тонкая рука ее сжимала пучок завянувших астр.

Венедиктов сидел посреди тридцать восьмого номера на засаленном, просиженном зеленом диване и курил трубку с длинным чубуком. На нем был яркий бухарский халат, открывавший волосатую грудь. В комнате в беспорядке разбросаны были различные вещи. Раскрытые баулы и сундуки говорили о готовящемся отъезде. На столе стояла железная кованая шкатулка.

«А, это ты?» — холодно и недовольно встретил меня Венедиктов. В полном трепета молчании протянул я ему письмо. Нехотя взял он его и, взглянув на почерк, вздрогнул: «Как?!» Встал. Провел руками по овлажненному лбу, посмотрев на свет, вскрыл пакет. Стал читать, волнуясь до чрезвычайности.

Почитая свою миссию законченной, счел я за лучшее незаметно уйти, оставив его посреди комнаты с роковым письмом в руке.

На заплеванной и полутемной лестнице меблированных комнат пахло кислой капустой, и какой-то корявый и веснушчатый мальчишка чистил, приплевывая, гусарские ботфорты. Выйдя на улицу, вздохнул я свободно.

Ах, господа, трудно до чрезвычайности носить кому-либо запечатанные письма от той, которую любишь безмерно.

Ступая по лужам и не зная, куда направить путь свой, снова почувствовал я гнет чужой воли над своею душой. Ощущал тягостно, что приказывает он мне вернуться. Кутался в плащ, твердо решив не поддаваться его власти и продолжать путь свой. Душа моя походила на иву, сгибае-

мую ветром надвинувшейся бури, в ее порывах изгибающую ветви свои.

Душа моя становилась безвольна и растворялась бесследно в чужой, мрачной, как воды Стикса, дьявольской воле.

Бесшумно отворил я дверь тридцать восьмого номера, как провинившийся школьник, стал у притолоки. Венедиктов сиял, вся комната преобразилась.

Вещи, приготовленные к отъезду, были заброшены под диван. На столе в бемских бокалах искрилось шампанское, а устрицы и лимбург смешивались с плодами московских оранжерей.

«Как я могу отблагодарить тебя, Булгаков! — сказал Петр Петрович, протягивая мне бокал. — Сам Гавриил не мог бы принести мне вести более радостной, чем ты! Эх! если бы ты мог что-нибудь понимать, Булгаков. Душа освобожденная, сбросившая цепи, любит меня!»

Недопитое вино искрилось в бутылках. Венедиктов был уже пьян в высшей степени. Он усадил меня за стол и с пьяным дружелюбием и настойчивостью потчевал меня яствами своими.

Искрометная влага Шампани сделала язык его разговорчивым, и он изливал передо мною любовную тоску свою. Все более хмелея, повторял ежеминутно:

«Эх, если бы ты что-нибудь понимал, Булгаков!»

Наконец, придя в неистовство, ударил кулаком своей большой руки, на которой сверкнул железный перстень, по столу так, что замерцали свечи, и бокал, упав на пол, разбился с трепетным звоном. Воскликнул:

«Я — царь! А ты червь передо мною, Булгаков! Плачь, говорю тебе!»

И я почувствовал, как горесть наполнила душу мою. Черствый клубок подступил к моему горлу, и слезы побежали из моих глаз.

«Смейся, рабская душа!» — продолжал он, хохоча во все горло, и поток солнечной, мучительной радости смыл мою скорбь. Все, казалось, наполнилось звенящей радостью, — и персики, разбросанные по столу, и осколки разбитого бокала, и канделябры мерцающих свечей, стоящие на смятой и залитой вином скатерти.

«Беспредельна власть моя, Булгаков, и беспредельна тоска моя; чем больше власти, тем больше тоски». И он со

слезами в голосе повествовал, как склоняются перед ним человеческие души, как гнутся они под велением его воли. Как любит он Настеньку, как хотел он ее любви. Не подчинения, а свободной любви. Не по приказу его воли, а по движению душевному. Как боялся он отказаться от власти над нею, страшась навсегда потерять ее. Как отрекся он минувшей ночью от власти над Настенькиной душой и как наградил его всевышний ее свободною любовью, вестником которой и был синий конверт, мною принесенный.

Ум его темнел, и он, размахивая руками, ходил по комнате, как в бреду, рассказывая бессвязно. Тень или, вернее, многие тени его шагающей фигуры раскачивались по стенам. В незанавешенные окна вливался холодный свет луны, смешивающийся с мерцающим желтоватым светом восковых свечей канделябра. Глухо донеслись полночные перезвоны Спасской башни.

«Ничего ты не понимаешь, Булгаков! — резко остановился передо мной мой страшный собеседник.— Знаешь ли ты, что лежит вот в этой железной шкатулке? — сказал он в пароксизме пьяной откровенности.— Твоя душа в ней, Булгаков!»

Глава VI

Было около двух часов ночи. Венедиктов налил себе бокал и, выпив, продолжал свой рассказ.

«И вот, понимаешь, когда вошел из темноты я в эту комнату, глаза мои застлались от едкого табачного дыма с примесью какого-то запаха серы. Клубились тяжелые струи дыма, сверкали лампионы, вместо свечей уставленные плошками, извергавшие красные и голубые, как от горения спирта, языки пламени. На огромном круглом, покрытом черным сукном, столе сверкали перемешанные с картами золотые треугольники. Десятка три джентльменов, изящно одетых в красные и черные рединготы, в черных цилиндрах, все с такими же геморроидальными лицами, как и у моего спутника, в полном молчании, прерываемом проклятиями, играли в пик-медриль. Рыжий, которого я спас на углу Уйтчапеля от разъяренной толпы клириков, пожал ближайшим джентльменам руки и сел за стол, совершенно забыв о моем присутствии.

Предоставленный самому себе, я попытался осмотреться. Комната, показавшаяся мне вначале сводчатой, поскольку можно было рассмотреть сквозь клубы вонючей гари, или была вовсе лишена потолка, или он был прозрачен, так как кругом мерцали мириады звезд, застилаемые струями дыма. В глубине направо высилось колоссальное изваяние, я узнал в нем ритуальное изображение Асмодея в виде козла. Именно так изображен он в книге Брантона. Нет сил передать всю гадость и похотливость неистовства приданной ему позы. С ног до головы изваяние было залито испражнениями, горевшими голубым огнем, а новые и новые толпы посетителей с проникновенным трепетом облегчали свои желудки в жертву богу дьяволов. Смрад, поднимавшийся от этой черной мессы, заслонял стоящего на голове чудовища дряхлого Иерофанта с выпяченным животом, размахивающего двумя факелами. В серном тумане светлыми пятнами маячили круглые, покрытые сукнами столы, где джентльмены предавались карточной игре или обжорству... казалось, передо мной был шабаш ведьм мужского пола.

«Ха, Шлюсен»,— дернул меня за руку плюгавый старик и просил, передавая карты, докончить партию за него, пока он отлучится, обещая поделить выигрыш пополам.

Я сел, не отдавая себе отчета, и взял в руку карты; кровь прилила у меня к голове и забилась в висках, когда взглянул я на них.

Порнографическое искусство всего мира бледнело перед изображениями, которые трепетали в моих руках. Взбухшие бедра и груди, готовые лопнуть, голые животы наливали кровью мои глаза, и я с ужасом почувствовал, что изображения эти живут, дышат, двигаются у меня под пальцами. Рыжий толкнул меня под бок. Был мой ход. Банкомет открыл мне пикового валета — отвратительного негра, подергивавшегося в какой-то похотливой судороге, я покрыл его козырной дамой, и они, сцепившись, покатились кубарем в сладострастных движениях, а банкомет бросил мне несколько сверкающих треугольников. Как удары молота стучала кровь в моих висках. Но я, боясь выдать себя, продолжал играть. Карта мне шла, и неистовые оргии карточных персонажей, сплетавшихся во славу Приапа... решались в мою пользу.

Когда плюгавый джентльмен вернулся, передо мною на столе лежала изрядная кучка металла. Он, видимо, был

неожиданно обрадован и, сунув горсть треугольников мне в руки, похлопал по спине. Воскликнул: «Ха, Шлюсен» — и погрузился в игру. Оторвавшись от дьявольских карт, я обвел залу помутившимся взором налитых кровью глаз. Для меня не оставалось более сомнения, что нахожусь я в клубе лондонских дьяволов. Приходилось думать о бегстве. Рыжий джентльмен, встреченный мною в Уйтчапеле, вряд ли мог быть для меня полезен. Он был в сильном проигрыше, и волосы его бакенбардов в неистовстве сжимались и разжимались, как спирали пружин... На счастье, увидел я двух косопузых карапузиков в красных редингтотах, янтарных лосинах и черных цилиндрах, которые, о чем-то споря, простились с соседями и, очевидно, направились к выходу. Незамеченным последовал я за ними. Они подошли к плотной кирпичной стене и, не замедляя шага, слились с нею. Я бросился к ней, выдвигая правое плечо вперед, ожидая удара холодного камня. И только коснулся ее поверхности, как увидал себя в сутолоке вечерней толпы Пикадилли-стрит».

Венедиктов остановился, вытер платком вспотевший лоб, залпом осушил стакан и продолжал:

«Когда я вернулся в гостиницу и разложил семь мною выигранных треугольников посредине стола, долго не мог я понять их значения. Это были толстые золотые и, очевидно, платиновые пластины, с вырезанными на них знаками Аик-Бекара и пентаклем, сильно потертые и бывшие, очевидно, в немалом употреблении. Казалось, впитали они в себя адский пламень Асмодеевой черной мессы.

Недоуменно взял я один из них в руки и, смотря на него, задумался. Постепенно меня захватили, нарастая, новые ощущения. Почувствовал прилив каких-то новых чувств, и взор мой, изощренный, как-то свободно проникал сквозь предметы, уносился беспредельно.

В какой-то синеющей дымке,— впрочем, даже не в дымке и не на стене, я не знаю, как передать способ моего нового чувствования,— увидел я девушку, разметавшуюся на своей постели. В беспокойном сне сбросила она от себя одеяло и в нагой своей красоте лежала передо мной. Волнение охватило меня. Ее лицо не было мне видно, и страстное желание видеть его наполнило мою душу. Как бы подчиняясь ему, она с каким-то мучением повернулась ко мне. Как прекрасно было это лицо! Как прекрасна была

ее обнаженная грудь! Мне захотелось, чтобы она открыла свои глаза, и глаза ее открылись. Девушка проснулась. В ужасе села на кровати. Я захотел, чтобы она встала, и она встала с мучительным напряжением. Рубашка скатилась к ее ногам, и мгновенье она стояла передо мной, как Киприда, рождающаяся из пены морской. Затем опомнилась, накинула рубашку и в ужасе опустилась перед киотом икон, где теплилась лампада... Спасов лик строго глянул мне в душу, и видение потускнело.

Я выронил из руки треугольник и долго-долго смотрел перед собою в пустоту... Прошел час, может быть, другой... Дрова догорали в камине. Я понемногу пришел в себя и положил на ладонь другой платиновый треугольник и чуть не выронил его в ужасе... Стены расступились, и увидел я Жанету Леклерк, актрису Палас-театра, за которой ухаживал я тщетно. Она полулежала на софе, и около софы на коленях стоял офицер шотландской гвардии. Беспорядок одежд, нежность поз не оставляла сомнения в любовности их свидания. Жанета, вся трепеща, в истоме тянула к нему свои обнаженные руки и полуоткрытые губы. Всем напряжением воли я велел ей отпрянуть. Но не было моей власти над ней, и она обняла своими обнаженными руками седеющую голову полковника. Бешенство овладело мною, и я велел *ему* встать. Покорный, он поднялся с колен, отстранив объятия Жанеты. Я понял, что владею его душой; Жанета, с неведомым для меня в женщине бесстыдством, прильнула к нему своим телом, и я, до краев преисполненный бешенством и чувствуя, что владею каждым мускулом шотландца, схватил его руками ее горло и неистово впился в него, пока судороги не охватили ее тела.

Видение показало мне смерть Жанеты, и я усилием своей воли бросил шотландца головой об угол печки.

Видение пропало, а треугольник рассыпался в прах, оставив ощущение ожога. Я бросился на диван и забылся тяжелым сном.

Нужно ли рассказывать о беспредельном ужасе моем, когда утром я подошел к дому Жанеты, чтобы рассказать ей об ужасном сновидении, увидел дом окруженным толпой, ее задушенной, а в углу комнаты с разбитым черепом лежащего, виденного мною ночью шотландца. Жизнь для меня потухла. Я понял, что выиграл у лондонских дьяволов человеческие души».

Глава VII

Речь Венедиктова становилась бессвязной. Он хмелел все больше и больше. Видение прошлого терзало его мозг, он опустился глубоко в свое кресло и, сильно затягиваясь, курил свою трубку с длинным чубуком. Бледный как смерть, рассказал он, как овладел душою и телом молоденькой леди, только что вышедшей замуж за члена Верховной палаты лорда Крю, и раздавил ее жизнь, как раздавливает полевой цветок тяжелая нога прохожего; как не мог он даже в тумане увидать владетеля души с пентаклем Альдебарана.

Петр Петрович открыл шкатулку и показал мне четыре оставшихся треугольника, рассказав, что пятого талисмана — Настенькиной души — он не мог найти в пруду Марьиной рощи, куда его она забросила.

Совсем охмелевший Венедиктов бил кулаком по платиновой пластине неведомой души, приказывая ей явиться перед ним и посылая проклятья. Затем стих и охотно согласился сыграть на мою душу в пикет, в который мне не трудно было его обыграть весьма скоро. Трепетной рукой взял я дьявольский треугольник. Свечи догорели и гасли. При свете коптящей светильни видел я, как Венедиктов опустился своей тяжелой головой на стол.

Когда я бежал по Мертвому переулку мимо церкви Успенья, что на Могильцах, на Спасской башне пробило три.

Глава VIII

Сердце мое билось, глаза горели, когда шлепал я по осенним лужам и шел, подавленный кругом невиданных событий.

Ночная Москва поглотила меня. Не помню, где я ходил. Срамная баба кричала мне вслед, задирала свои юбки и звала меня в канаву... два раза окликали меня будочники. Очнулся я, заметив перед собою отблески света. Оглянулся и увидел ярко освещенную станцию дилижансов легкой курьерской почты.

Это было единственное место, где мог я укрыться от накрапывающего дождя и собраться с мыслями в ожидании рассвета. Вошел и отряхнулся от капель. Дождь полил с

удвоенной силой. Большая комната почтовой станции была тускло освещена двумя фонарями.

Направо у столика с двумя полуштофами сжались в кучу несколько посетителей, за стойкой дремал хозяин — пожилой уже ярославец, налево за большим столом в полном одиночестве сидел постоялец, увидав которого я невольно вздрогнул.

Это был странный офицер, с которым столкнулся я прошлою ночью. Он сидел и писал. Тускло мигавшая, нагоревшая свеча освещала его старомодный дорожный мундир, высокие ботфорты, и снова напомнил он мне героев Семилетней войны.

В комнате чувствовалось напряжение чрезвычайное, посетители, на вид люди бывалые, казалось, стихли, как стихают мелкие пичуги, завидев приближение ястреба. Рюмка не лезла им в горло, и хмуро смотрели они на офицера, пишущего что-то на полулисте бумаги плохо обрезанным и скрипучим пером. Бросив перо и сложив написанное вчетверо, незнакомец встал и, звеня шпорами, направился к выходу.

«Приготовь лошадей, Петрухин, через час я уезжаю»,— сказал он хозяину и вышел под потоки яростного, булькающего в лужах дождя.

«Душегуб проклятый!» — процедил сквозь зубы какой-то помятый человек, в котором нетрудно было узнать архивного регистратора.

«Не к добру эдакая встреча»,— поддержал его приятель и взялся за полуштоф.

«Эй, смотритель, что это за цаца?»

«Сейдлиц»,— отвечал степенный ярославец с какой-то особой боязливой и почтительной осторожностью.

«А кто он такой?»

«А кто его знает! Болтают по-разному. Года два назад стоял он в Новотроицком и выбросил в окно шулера Верлинского. Сказывают, помер!»

Фамилия показалась знакомой, и потертый человек, еще больше съежившись, рассказал, что слыхал он, будучи в Питере, о каком-то Сейдлице, не к ночи его помянуть, появившемся на свет божий диковинным образом.

В те поры, рассказывал он, в Париже орудовал некий Месмер и из людей всяких какой-то палочкой веревки вил; что скажет, то человек ему и сделает, чем велит, тем

человек и прикинется. Скажет — быть тебе, ваше превосходительство, волком,— и его превосходительство окарачь ползает и воет. Скажет графине, что она курица,— она и кудахчет.

Так вот, сказывают, велел он одному немецкому гусарскому полковнику, что будто он на седьмом месяце беременности. У того живот-то и вздулся, а Месмер-то этот самый тут же от натуги и помер. Расколдовать гусара никто не мог, а месяца через два он помер, и лейб-медик короля прусского вырезал у него из живота ребеночка, зеленого всего, склизкого, с большою головой...

Рассказ прервался скрипом двери и звяканьем шпор. Сейдлиц вернулся и бросил смотрителю кожаный мешок и письмо, запечатанное пятью сургучными печатями,— «Утром отправить к коменданту»,— сказал он резко и снова направился к выходу. Все примолкли. Покров ночного ужаса раскрылся над нами. Все мы заметили отчетливо, что, несмотря на проливной дождь, плащ Сейдлица не был смочен ни одной каплей воды. Вскоре я расплатился и вышел.

Глава IX

Утренний сон освежил меня заметно. Сквозь опущенные занавески просачивались солнечные лучи. Круглые солнечные зайчики наполняли комнату спокойным полусветом, играя то на фарфоровом китайце, то на резной рукоятке пистолетов, подаренных отцу Румянцевым-Задунайским и висевших над диваном, служившим мне постелью.

Я чувствовал полное освобождение от гнетущей меня последние месяцы тягости, но почему-то даже не вспомнил о выигранном треугольнике. Так незначительной казалась мне моя собственная судьба. Душа моя была опустошенной. Ни радости, ни горести я не ощущал. Мне как-то ничего не хотелось. И только одна мысль о Настеньке наполнила мою душу сиянием.

Но что я был для нее? И в то же время чем я был без нее?

Когда я вошел в синенький домик, там все сияло радостью. Марья Прокофьевна с засученными рукавами клала на подушки сдобный крендель. Розмарин и чайное дерево благоухали запахом радости. Белая кошечка в новом голу-

бом бантике от радости особенно круто выгибала спину. Струны клавикорда, казалось, сами были готовы звенеть Моцартовы песни. Настенька перед зеркалом поправляла свои локоны и складки на кружевной накидке своего шурщащего белого платья. С горестным чувством мучительной ревности выслушал я, что Венедиктова ждут через час,— к двум, что отец Василий от Параскевы Пятницы прибудет сам для обручения и что я такой необыкновенный, такой любезный, такой счастливый на руку человек.

Пробило два. Пришел дядя Николай Поликарпович с супругой в гроденаплевом платье, две-три молоденькие девушки с большими бантами на головах, подруги Настенькины театральные. Попробовали кренделек. К трем пришел отец Василий. Радость омрачалась тревогой. Закусили. Поговорили о Бонапарте, еще раз закусили. Отец Василий ушел, сказав, что придет к пяти. Стало томительно и страшно. Я подавлял в себе преступное чувство радости и, наконец, предложил сходить к Венедиктову, узнать, в чем дело. Поймал на себе взгляд Настеньки, полный надежды и благодарности. Чуть не бегом пустился по Петровке.

Когда подошел я к Арбатской площади, мне бросились в глаза встревоженные лица прохожих и какая-то растерянность во всем. Меблированные комнаты «Мадрид» нашел я окруженными большою толпой простого народа, а в стороне знакомую коляску обер-полицмейстера. Половые и полицейские долго меня не пускали, а когда я назвал себя и сказал, что надобен мне Петр Петрович Венедиктов, чьи-то досужие руки взяли меня за локти, и я был втолкнут без особой учтивости в тридцать восьмой номер, войдя в который остолбенел.

В комнате все было перевернуто и носило следы отчаянной борьбы. Посредине, среди обломков кресла и скомканного ковра, лежал Петр Петрович с проломленным черепом, а штабс-капитан Загорельский допрашивал побледневшую дородную содержательницу номеров.

Глава X

Уже синенький домик с мезонином показался у меня перед глазами, когда робость овладела мною всецело и до конца. Я не мог сделать ни шагу более. Пусть Настенька

проспит эту ночь в неведении! Пусть беспокойство ее не заменится мраком отчаяния!

Вернулся домой. Посмотрел в зеркало. Исхудалое лицо взглянуло на меня из рамки карельской березы. Отяжелевшие впалые глаза отмечались ужасными синяками. Я не мог заставить себя прикоснуться к ужину и, отпив два глотка горячего пунша, велел Феогносту постелить мне на диване постель и потуже набить две трубки капстаном.

Была глубокая ночь, но не мог я собраться с мыслями даже настолько, чтобы раздеться и лечь спать. Тупо смотрел, ничего не понимая, на пламя догорающей свечи.

Стук в окно, которое я забыл занавесить, прервал мои тяжелые размышления.

Труба архангела не смогла бы потрясти меня больше; я бросился к окну и сквозь запотелое стекло в лунном свете увидел Настеньку — простоволосую, закутанную в ковровую шаль.

«Спасите меня: убийца гонится за мною по пятам!»

Я не расспрашивал более: через минуту, забыв о стыдливости (ах, друзья мои! о чем нельзя было забыть в эту минуту!), я быстро переодевал Настеньку, стоящую передо мной в одной рубашке, в свое мужское платье. А когда мы перелезали через забор в сад попадьи и рука моя судорожно сжимала отцовский пистолет, кто-то тяжело и упорно стучался в дверь моего дома. Через полчаса мы были на знакомом постоялом дворе в Садовниках, а на рассвете друг моего детства и молочный брат Терентий Кокурин мчал нас на своей тройке в город Киржач, без подорожной, без паспортов, к сестре моей матушки Пелагее Минишне.

Глава XI

«...Вот и все, Пелагея Минишна. Больше я и сам не знаю»,— закончил я свой рассказ и посмотрел на старушку. Моя добрая тетушка вздохнула и принялась устраивать нас, не задавая никаких вопросов, только изредка пристально всматриваясь то в Настеньку, то в меня.

Сшили мы Настеньке нехитрое платьице из аглицкой фланели, которое шло ей к лицу чудесно, как, впрочем, были ей к лицу и тетушкины роброны времен Елизаветы Петровны и славных дней Екатерины.

Первые дни сидела она, родная голубушка, в уголке дивана недвижно, как зверушка в клетке, и как-то испуганно глядела на нас. Отчетливо и с радостной грустью помню я дни, когда тетушка, окончив с хозяйством, присаживалась к нам и, быстро мелькая спицами, вязала чулки, Настенька смотрела в сад, где опадали последние желтые листья, и, задумавшись, гладила белую кошечку, а я, поместившись у ее ног, читал творения Коцебу, описания путешествия господина Карамзина и трогательные стихи великого Державина.

Ах, друзья мои, как давно это было!

Через неделю отправился я в Москву, нашел Настенькин домик сгоревшим, а Марью Прокофьевну исчезнувшей неизвестно куда.

Прошло около месяца, пока я хлопотал о заграничном паспорте. В те времена паспорта получались столь же трудно, как и теперь. И только в конце октября переехали мы прусскую границу. Перед нами промелькнул Берлин, еще хранивший жизнь Великого Фридриха, Кельн, с его башнями и серыми волнами Рейна, Париж, где золото, женщины, вино и гром военной славы уже закрыли собою заветы неподкупного Максимильяна.

Настенька оставалась безучастной ко всему проплывающему мимо. А я начал впадать в задумчивость тяжелую. Шитый бисером кошелек, в котором моя мать, умирая, передала мне наследие отца, бережно сохраненное ею, становился все более и более легким. Будущее тревожило меня. Мы с Настенькой привязались друг к другу до чрезвычайности. Но положение наше было ложно. Она и думать не хотела о замужестве. Тщательно запирала дверь своей комнаты, уходя спать. Я пытался расспрашивать об ее жизни. Она рассказывала неохотно, больше о своем детстве, о театральной школе. Казалось, роковая тайна тяготела над ней, и было нужно еще раз показаться на нашем пути маске трагедии, чтобы новой кровью закрепить наше счастие.

29 апреля 1806 года прогуливались мы в окрестности Фонтенебло, в лесах, где многие столетия охотились французские короли и где Франциск замышлял фрески своего замка. Буковые стволы, увитые плющом, и колючие кусты застилали нашу дорогу. Я думал с тревогой, что сбились мы с пути, как вдруг услышал лязг скрестившихся шпаг. Подняв голову, увидел, что Настенька, смертельно бледная,

смотрит сквозь заросли на полянку. Смотря в направлении ее взгляда, увидел я на зеленой траве группу мужчин в пестрых кавалерийских мундирах, внимательно смотрящих на двух с ожесточением фехтующих. В ужасе узнал я в одном из дуэлянтов Сейдлица. В этот же миг он увидел Настеньку и отступил на шаг. Как удар молнии сверкнула шпага его противника и пронзила его грудь. Он вскрикнул и упал лицом в траву. Секунданты к нему подбежали. «C'est fini!» — воскликнул пожилой офицер, беря руку безжизненного Сейдлица.

«Уведите меня отсюда»,— услышал я Настенькин шепот.

Вечером рассказала она, прерывая свою повесть рыданиями, что пьяный Венедиктов в роковую для себя ночь дождался прихода не подчинявшейся ему дьявольской души, проиграл Настеньку Сейдлицу и погиб, желая силою отнять свою расписку у пруссака.

«Теперь я свободна»,— закончила она свой рассказ, протягивая мне обе руки. В эту ночь она оставила дверь своей спальни не запертой.

Глава XII

Не знаю, что и о чем писать дальше... История достопамятных событий, потрясших мою жизнь, давно уже окончена. Не я даже в ней главное лицо. Господу было угодно сделать меня свидетелем гибели человека, перешедшего черту человеческую, и передать в мои руки его драгоценное наследство.

Венчались мы с Настенькой в тот же год, возвратившись в Москву, у Спаса, что в Копье. Жизнь наша протекала безоблачно, и даже при французе домик наш, построенный на Грузинах, был пощажен и огнем и грабителями.

Настенька бросила сцену и предалась хозяйству. Брак наш не был счастлив детьми, и в тяжком одиночестве посещаю я могилу Настенькину в Донском монастыре.

Вот и вся повесть жизни моей. Упомяну только в заключение, что лет через пять после француза, перебирая сундуки в поисках парадной одежды для посещения торжества открытия памятника гражданину Минину и князю Пожарскому, на которое получили мы с Настенькой билеты,

нашли мы старый мой студенческий мундир, из кармана которого выпал золотой треугольник моей души. Долго мы не знали, что с ним делать, и смотрели на него со странностью, пока я не проиграл его Настеньке в карточную игру акульку. Настенька взяла треугольник с трепетом, привязала себе на крест, и — странное дело! — с той поры не знал я больше ни скорби, ни горести. Не ведаю их и сейчас, бродя, опираясь на палку, по склонам москворецким и зная, что душу мою Настенька бережет в своем гробике в Донском монастыре.

Венецианское зеркало, или Диковинные похождения стеклянного человека

Романтическая повесть,
написанная ботаником X.
и на этот раз никем не иллюстрированная

О. Э. Ч.
посвящает эту книгу
автор

Глава первая,

из которой читатель узнает общее положение дел и знакомится с героями нашей повести

Алексею никогда не удавалось впоследствии передать своим друзьям в обычных представлениях и образах нашего мира свои стеклянные впечатления. Даже больше того — потрясенная память не удержала почти никаких воспоминаний из дней, непосредственно предшествовавших началу его тяжкого зеркального бытия.

Последнее, что сохранилось в его памяти отчетливо и даже преувеличенно ярко, был тот роковой день, когда он нашел искомое в подвалах венецианского антиквара.

Он помнил в малейших деталях, как сениор Бамбачи, уже истощивший весь запас хвалебных терминов пяти европейских языков, вяло перебирал перлы своих коллекций.

Венецианское солнце, как всегда горячее, насыщенное запахом меда и моря, ложилось бликами на бедрах амуров барокко, играло на стеклянных подвесках флорентийских консоли и посылало на потолок антикварного магазина отблески волн канала Gracio.

Однако все сокровища торгового предприятия сениора Бамбачи, как равно и предложения других антикваров Европы, оставляли Алексея холодным.

Полгода, уже затраченные на внешнее убранство его новой жизни, не привели еще к разрешению поставленной задачи.

В восьми комнатах его нового яузского особняка предметы художественного творчества пяти веков, схваченные острой гаммой экспрессионизма, несмотря на все усилия, не связывались между собою последним заключительным синтезом.

Была нужна деталь, которая своею острой и пряной силою превосходила бы многократно все остальные слагающие, как капля эстобаны превосходит все элементы сложного напитка, служащего для ее воплощения.

Попытка использовать для этой цели деревянного негритянского идола с бенадирского берега оказалась столь же бесплодной, как и первоначальный замысел построить всю композицию обстановки на маленькой Венере старшего Пальмы.

Алексей заметно терял хладнокровие, и ему казалось, что неудача с устроением яузского дома обрекает на неудачу и устроение жизни с его обитательницей, чьи рыжие пряди волос обещали дать последний синтез его мятежной, сложной и в общем тяжелой жизни. С нескрываемой досадой Алексей отодвинул рукой какой-то пестрый свадебный ящик старой тосканской работы, предложенный ему выбившимся из сил и недоумевающим антикваром, и решил использовать последнее средство, которое не раз спасало его от намечавшегося коллекционерского сплина.

Через десять минут ворчавший Бамбачи, гремя ключами и освещая путь тусклым фонарем, спустился с ним по сырым каменным ступеням в подвалы, до краев набитые старой рухлядью, служившей венецианцу рудой для извлечения драгоценных перлов его антикварного дела.

Алексей надеялся, что глаз старого торгаша, притупленный банальностью рыночного спроса, что-нибудь пропустил в многочисленных обстановках старых палаццо и монастырей, гуртом скупленных и сваленных в бездонные подвалы канала Gracio.

Однако штабели старых запыленных кресел, деревянных церковных принадлежностей и бледных безруких антиков — в мерцающем свете Бамбачева фонаря — показались ему скучными задворками Дантова Ада, истлевающим кладбищем жизни многочисленных поколений.

Щемящая тоска бессилия заполнила сознание Алексея, и он уже собрался махнуть на все рукой и прямо из магази-

на ехать на вокзал и в Москву, как вдруг остановился потрясенный.

Ему показалось в темноте, направо, около огромной картины, за обломками луисезовских кресел, присутствие кого-то значительного и властвующего.

Алексей остановился. Сердце его забилось учащенно. Он чувствовал все свои движения связанными, и какая-то власть змеиного взгляда приковывала его к находящемуся во мраке.

Он сделал несколько шагов в темноте, и в колыхнувшемся свете Бамбачева фонаря в него впились два исступленные глаза.

Через мгновение, показавшееся ему вечностью, он понял, что перед ним за обломками красного дерева стоит зеркало, покрытое паутиной и слоями пыли.

С этой минуты острота сознания погасла для Алексея.

С большим напряжением он мог припомнить в смутных зрительных образах, как привез свою находку к подъезду яузского особняка. Почему-то отчетливо помнил побагровевшую с натуги толстую шею своего камердинера Григория, который, кряхтя, вынимал из автомобиля ящик с упакованным в нем венецианским зеркалом.

Помнил точно сквозь сон и тот роковой момент, когда он, бессвязно рассказывая свои похождения Кет, стоящей перед ним в озаренном солнцем белом весеннем платье, начал снимать тафту со своей венецианской находки.

Когда упали на пол последние складки желтой ткани и черная стеклянная поверхность изогнутыми линиями отразила в себе Кет, горшки кактусов и купола церквей, горой поднимающихся к закатному небу на Кулишках за Яузой — все преобразилось в маленьком домике, и чудилось, будто невидимые струи стеклянной жидкости заливают собою комнаты и растворяют все окружающие предметы, делая их призрачными.

Зеркальная поверхность, казалось, излучала из себя тонкую, отстоянную веками отраву, и она постепенно насыщала собою воздух, мебель, картины, цветы, стены...

Голова начинала кружиться, и учащенно дышала грудь. Перед глазами Алексея в свинцовом зеркальном сумраке прыгало его изображение и изображение Кет, постепенно овладевавшее им безраздельно.

Всматриваясь в зеркало, он не узнавал в отражении спокойных черт своей подруги и, отводя глаза от зеркала на ее собственное лицо, не узнавал ее также.

Передвигая тяжелую мебель, невольно касаясь ее руки, бедер, он чувствовал, что все существо Кет переродилось. Ее всегда холодное и спокойное тело, казалось, горело, как расплавленный металл.

Под наваждением странного зеркала Алексей чувствовал и себя каким-то другим. Все те элементы его сущности, которые он научился с годами подавлять, с неожиданной бурностью и силой проявились вновь.

Чувствуя в своих объятьях трепещущее, жаждущее тело своей подруги, Алексей в порыве страстного чувства прижал ее к своей груди и хотел поцеловать ее алчущие губы. Смутно помнил, как Кет спрятала свое лицо за его плечо и, выскользнув из его объятий, скрылась.

Минуту спустя, и это особенно резко, на всю жизнь, врезалось в его память,— он оказался перед помутневшей поверхностью венецианского зеркала.

Венецианское стекло отразило его, как отражает поверхность волнующейся нефти, ломая контуры в кубистических формах смещающихся плоскостей.

Алексей напряженно вглядывался в искривленные черты своего лица, ясно чувствовал всю грубость своей страсти, и эта грубость странно нравилась ему и радовала его.

Какая-то страшная сила тянула все ближе и ближе к пожелтевшей поверхности тусклого стекла. Вдруг он вздрогнул, с ног до головы покрылся холодным потом и, как в подвалах канала Gracio, увидел перед собою два устремленных на него исступленных, совершенно чужих, глаза.

В то же мгновение почувствовал резкий толчок. Его зеркальный двойник схватил его правую руку и с силой рванул внутрь зеркальной поверхности, заволновавшейся кругами, как волнуется поверхность ртути.

На одно мгновение их тела слились в борьбе, и затем Алексей увидел, как его отражение выскочило, заплясало, высоко подпрыгивая, посредине комнаты, а он должен был вторить ему в постепенно утихающем зеркальном пространстве.

Глава вторая,

в которой на сцену появляется стеклянный человек, и описание его злодеяний, виденных Алексеем из своего зеркального заточения

Вертлявый зеркальный человек, бывший ранее в зеркальном мире Алексеевым отражением,— в неистовом восторге плясал по большому персидскому ковру, вывезенному из Шираза, топча его каблуками и высоко подбрасывая ноги.

Через минуту он остановился. Обернулся к зеркалу и залился диким хохотом, показывая язык и грозя кулаками.

Алексей с отчаянием невероятным чувствовал, что черты его лица повторяют гримасы дьявольского двойника, а руки и ноги в каком-то онемении, несмотря на все сопротивление, следуют движению его тела. Стеклянный человек, упоенный своею властью, подошел почти вплотную к зеркалу и, иронически выгибаясь в неистовстве невероятных поз, заставлял Алексея свиваться в телодвижениях, напоминавших позы наиболее фантастических персонажей Жака Калло. Изгибая руки и ноги в вынужденной дьявольской гимнастике, Алексей был подавлен до предела той вульгарностью и омерзительной похотливостью, которыми был преисполнен его чудовищный двойник, и ощущал даже некоторое удовлетворение тому, что его сознание оставалось старым, и ни одна его мысль не должна была вторить мыслям стеклянного человека.

В бешеной злобе сопротивления, его скоро начало радовать и то, что в исступленности жестов стеклянный человек не всему мог заставить его следовать. Иногда бешеным сопротивлением воли Алексей задерживал упорством своей руки какое-нибудь омерзительное движение своего двойника, что приводило последнего в неистовство и заставляло в страхе отступать от зеркала.

Напряженная борьба, завязавшаяся сквозь перепонку безмолвной поверхности стекла, внезапно оборвалась.

В комнату вошла Кет.

Рыжие пряди ее волос были перехвачены жемчужными нитями, и легкая зеленоватая, совершенно прозрачная мосульская ткань оттеняла опаловые линии тела.

Алексей, потрясенный до последних глубин своего духа, готов был склониться на колени, но руки его мучительно и неожиданно стали хлопать в ладоши, вторя движениям восторженного стеклянного человека, который также заметил появление Кет и обернулся к ней.

Алексею показалось, что хрустнули его шейные позвонки, и, подчиняясь неведомой силе, голова отвернулась в глубину зеркального мира. В то же время он почувствовал в своих руках скользкое стеклянное тело двойника своей подруги.

Кет была скрыта от его глаз. Обращенный волею зеркального человека внутрь зеркальных пространств, только по движению стоящего перед ним стеклянного существа мог он судить о судьбе своей подруги.

Зеркальная женщина, чьи скользкие стеклянные бедра он вынужденно обнимал, улыбалась ему искривленной иронической улыбкой и изображала страх и удивление, охватившие, по-видимому, настоящую Кет.

Алексей смутно помнил, как через минуту его руки, подвластные чужой воле, грубо схватили, внушавшее ему отвращение, стеклянное бившееся тело, и неведомая сила повернула его лицом к поверхности зеркала.

В то же мгновение он, порабощенный, униженный, безвольный, увидел, как билась в руках его дьявольского двойника живая, родная ему девушка и как стеклянные руки сжимали ее своими мертвыми объятиями, оставляя на опаловом теле синяки от твердых пальцев.

Через мгновение все уплыло в зеркальном эфире и слилось для памяти Алексея в каком-то тяжелом бредовом сне.

Потянулись дни. Тяжелые свинцовые дни Алексеева зеркального бытия.

Впоследствии он не мог вспомнить без содрогания и ужаса тот призрачный безмолвный эфир, в котором плавали бледные существа, иногда повторяющие движения своих земных оригиналов, и еще более страшное полубытие в те минуты, когда ни одна зеркальная поверхность не ловила черты движений того, кому стеклянные существа были двойниками.

Алексея поражали те горести и радости, крайне жалкие на земную оценку, которые составляли жизнь этих призрачных существ, их постоянное сопротивление своим «хозяе-

вам» и желание овладеть ими, заставить их отражать свои движения и помыслы.

С содроганием натыкался он в трепетном сумраке зеркальных пространств на отражения давно умерших людей, некогда бывших великими и продолжающих ныне, угасая, свое зеркальное бытие, лишь изредка заглядывая из своих инфернальных далей сквозь стеклянную пленку в земной мир, пугая своих потомков и наводя трепет на девушек, склоненных над гадающим зеркалом.

С содроганием, доступным для его постепенно угасающих чувств, Алексей убеждался, что его двойник все более и более овладевал его земным уделом и с все возрастающим злорадством и иронией подмигивал ему по вечерам, когда, отложив бритву и понурив щеки и подбородок, он смотрелся в зеркало перед тем, как войти в спальню Кет.

Алексей, с тоской неизъяснимой, наблюдал горестную судьбу своей подруги. Взятая силой, она надломилась, как надламывается под ударами топора молодая береза; подчинилась воле зеркального человека, считая его за Алексея, не понимая происшедшего, не пытаясь думать, обессиленная, безучастная всему.

В ночных оргиях, которым Алексей должен был вторить в стеклянных пространствах, сжимая в объятиях ее стеклянный двойник, она была безучастна и отдавалась порочной игре, как кукла, без радости, без воли, без сопротивления.

Алексею казалось, что в этой безучастности Кет он находил какое-то моральное удовлетворение в безысходном круге своих несчастий; с тем бо́льшим удовлетворением замечал он, что порочная страсть стеклянной женщины, брошенной в его объятия законами зеркального мира, сдерживалась движениями подлинной Кет, и кипящая ярость темной стеклянной души не могла ни на один миллиметр изменить вялые движения своего стеклянного тела.

Однако скоро и этому ничтожному моральному утешению начал приходить конец. К ужасу своему, Алексей заметил однажды изменение своего собственного сознания, и ему стало казаться, что окружающий его стеклянный эфир начал просачиваться сквозь поры его тела и костные покровы черепа и растворял в стеклянном небытии его человеческую сущность. Совершая по воле своего дьявольского двойника какую-то неистовую жестикуляцию, он ощутил, до ужаса отчетливо, что неведомая ему моральная плотина

начала размываться и скоро стеклянные волны поглотят и растворят его душу.

Ощущение дикой безысходности и предельного отчаяния наполнило его душу, тем более что перед его глазами проходили ужасные картины гибели его земной подруги.

Бледная, изнеможденная, с провалившимися, но неизменно прекрасными глазами, с непонятно вульгарно выкрашенными губами, она, как сомнамбула, почти качаясь и не держась на ногах, сгорала с каждым днем.

Однако Алексей был бессилен чем-либо помочь ей. Стеклянные волны все больше и больше заливали его сознание.

Память окончательно выпала из его духовного мира, и только изредка инфернальный мрак его бытия освещался какими-то проблесками сознания.

В одну из таких минут Алексей, несмотря на полное притупление своих чувств, был потрясен до пределов невероятных. Перед его глазами блеснули зубы зеркального человека, вонзившиеся в плечо Кет, струи крови, оросившие ее грудь, стеклянные пальцы, впившиеся в ее горло, и полные ужаса и отчаяния глаза его подруги. Он видел, как вырвалась она, металась по комнате и бросилась к запертой двери своей студии. Через мгновение дикой борьбы дверь сорвалась с миниатюрных петель, и Кет упала у подножия венецианского зеркала.

Алексей увидел, как стеклянный человек поймал за волосы его подругу, притянул к себе, поднял и бросил в бешенстве на пол, снова готовый кинуться на свою жертву. Огненные круги запрыгали в Алексеевых глазах. Всем напряжением оставшейся у него воли он бросился к свившимся в неистовой борьбе телам...

В звоне разбитого стекла почувствовал себя упавшим на пол земной комнаты в обломках венецианского зеркала.

Через мгновение увидел насыщенные ужасом глаза Кет, созерцавшей раздвоившегося Алексея и своего двойника, в животном страхе убегавшего прочь.

В голове Алексея даже не мелькнуло мысли о его преследовании, он забыл о нем, бросился к своей несчастной рыдающей подруге и, прижав ее голову к своей груди, стал покрывать ее плачущие глаза поцелуями и гладить ее волосы.

А когда она успокоилась немного и судорожные рыдания

перестали содрогать ее тело, он бережно поднял ее на руки и понес в спальню. Проходя мимо овального трюмо, нечаянно взглянул в него и в ужасе чуть не выронил своей драгоценной ноши.

В зеркальных пространствах в воздухе плыло безжизненное тело Кет, ничем не поддерживаемое. В стеклянном эфире ничто не отражало Алексея, и он почувствовал, что его отражение в трепетном страхе бегает где-то по московским улицам.

Глава третья,

сравнительно спокойная, дающая передышку автору, героям его повести, а также читателям

Прошла неделя с того дня, когда Алексей вновь приобрел свое земное бытие. Кет спала. Пряди ее волос разметались по батисту подушки, и брови вздрагивали, подчиняясь видениям сна.

Алексей, отложив в сторону французскую, в желтой обложке, книжку романа, уже более часа смотрел, как дышит ее грудь, и думал.

Он пытался подвести итоги тем разрушениям, которые произвел в его жизни налетевший зеркальный ураган, и решить основной вопрос о возможности восстановления. Черепахи, кактусы и немецкие эротические эстампы, которыми двойник засыпал его комнаты, были убраны в первые же дни. Постепенно возобновлен внешний облик старого бытия, но все же Алексею чудился какой-то запах тления, и гадливое ощущение оскверненности наполняло его душу, когда он входил в комнаты, столь любимые раньше. Потеря своего зеркального отражения и нежелание ежеминутно напоминать Кет о происшедшем заставили его убрать из дома все зеркала, и композиция убранства, основанная на бездонных провалах противопоставленных зеркал, беспомощно обнажилась и умерла.

Однако, как полагал Алексей, в мире вещей все могло быть исправимым. Он полагал также исправимым и то стеклянное оцепенение мозга, которое временами возвращалось к нему, превращая его в манекена. Горячие ванны

и ленивый покой его жизни уже начали смывать эту отраву зеркальных пространств.

Его гораздо более волновала Кет. Она была искренне рада его возвращению, глубоко изумилась рассказу о стеклянном бытии, в ужасе содрогалась при воспоминании о пережитом и мечтала об отдыхе долгом и уединенном.

Однако спокойные ласки Алексея, нежные, кроткие прикосновения его поцелуев как-то не насыщали ее; Алексею чудилось, что разбуженная вулканическая страсть не может удовлетвориться человеческой любовью и человеческой лаской, и это тревожило его безмерно.

Его беспокойство возрастало до пределов чрезвычайных, когда до сознания доходило смутное опасение, что стеклянный двойник не рассеялся, как дым, как наваждение детской сказки, но продолжает жить где-то рядом, караулит свою добычу, и борьба между ними далеко еще не кончена.

Вчера, в вечерней сутолоке Кузнецкого моста, среди цилиндров и колеблющихся эгретов дамских шляп, ему показались на мгновение знакомые черты, а в контурах прохожего, поспешно убегавшего по Петровке, он как будто бы узнал костлявые члены зеркального человека. Этот полунамек на встречу находил себе подкрепление в многочисленных московских сплетнях о несуществовавших Алексеевых похождениях по игорным домам и другим московским вертепам.

Поэтому в ночной темноте, под мерные удары маятника часов, перед лицом спящей Кет он почти чувственно ощущал, как его противник бродит по московским улицам и взбирается по длинным лестницам с одного этажа на другой.

Кет зашевелилась, нахмурила брови, проснулась и села на диване. Его улыбка застыла на устах, когда он увидел, что спокойные полузакрытые глаза ее вдруг с диким ужасом раскрылись и, выбросив вперед руки, она с нечеловеческим криком упала. Алексей обернулся в направлении ее рук и за отпотевшими стеклянными дверями балкона на фоне изогнутых черных деревьев сада увидел устремленный на него взор глаз, потрясший его впервые в подвалах канала Gracio.

Глава четвертая,

наполненная борьбою Алексея с его зеркальным двойником и заставляющая читателя из одного места города Москвы переноситься в другое и обратно

Алексей выстрелил в последний раз наугад в камыши около Горбатой Ветлы, куда, как ему показалось, метнулась преследуемая тень, и остановился в изнеможении, нервно сжимая рукоятку кольта.

Налетевшие волны ветра трепали осенние листья на изгибающихся ветвях прибрежных ив, по небу судорожно летели обрывки облаков, шаря лунными тенями по зарослям сада.

Алексей казался потрясенным и, мысленно измеряя по каплям свои ничтожные моральные силы, чувствовал, как потерянность овладевала им все более и более.

Поздним вечером, когда бледная, анемичная Кет, ушедшая глубоко в себя, разливала в круглой столовой чай, он вяло обсуждал с ней план обороны и борьбы с неуловимым противником и более пытался поймать взгляд своей подруги, тревожно следя за движениями ее души, чем слушал ее вялые реплики.

Окна были плотно занавешены; камин, полузакрытый экраном, наполнял теплотой и спокойным уютом. Однако тревожная значительность оплотняла собою все: и мигающее пламя догорающих дров, и шорохи ветра в саду, просачивающиеся сквозь занавески окна, и случайный звон чашки, и тихие голоса собеседников, и беспричинный лай цепных собак, пущенных в сад.

Кет вяло отвергала все остроумные Алексеевы проекты заманить стеклянного человека в западню и иные способы организации обороны и утомленным голосом просила на всю зиму уехать в подмосковную, где он несомненно оправится от потрясений и сможет считать себя в безопасности от страшного преследователя.

Вглядываясь в черты ее лица, Алексей замечал в нем что-то терпкое, темное, брошенное в ее душу взором того, другого, с чем он был бессилен бороться и что приводило его к последней грани отчаяния.

Постепенно его сознание как-то физически сузилось.

Комната, догоравший камин и ампирные контуры мебелей потонули в туманном сумраке; его мозг охватил припадок зеркального оцепенения, и вскоре все поплыло в неподвижном движении.

Он видел в полузабытии, как встала и ушла Кет, но был бессилен подняться за нею.

Ему казалось, что весь его дом глубоко погружен на дно зеркальных пространств, и там за стенами, где бушевала стеклянная буря, десятки его двойников, совершенно одинаковых, как стая рыб в сонном пруду, кружатся в ожидании добычи.

Он ощущал, что только тонкая перепонка стен и занавесей отделяет его от всепоглощающего стеклянного ужаса, а сами стены дома постепенно растворяются в зеркальном эфире, как растворяется сахар в стакане горячего чая.

Он смотрел на огонь догорающих углей, и синие, уносящиеся ввысь языки пламени вырастали и заполняли все пространство, застилая собою всю комнату, куда бы ни направлял он свой взор...

Среди их волшебного полета он увидел растворившуюся дверь, и перед ним не то наяву, не то во сне показалась почтительно склоненная фигура камердинера Григория.

С трудом Алексей убедил себя в том, что эти мелькающие очертания, колеблющаяся в сумраке фигура была реальностью. Но она тотчас же растворилась в пространстве, когда Алексей заметил в ее руках серебряный поднос, а на нем среди всего колеблющегося мира твердый, не меняющийся квадрат голубого конверта. Он взял своими бесконечно удлинившимися пальцами твердый конверт, показавшийся ему стеклянным, и внезапно сквозь его пергамент вспыхнули и загорелись обратным зеркальным письмом написанные слова, начали расти, и, казалось, океан стеклянного эфира хлынул в комнату сквозь распавшиеся стены дома. Алексей, терявший последнюю жизненную опору, вскрикнул, и кошмар, клубясь, рассеялся.

Перед ним стоял перепуганный Григорий и действительно держал на подносе большой голубой конверт.

Отослав Григория и вскрыв пакет, Алексей увидел лист своей собственной бумаги, исписанный его почерком, но только обратным, зеркальным письмом, в котором дьявольское стеклянное существо глумилось над всем для него святым, называло его убийцей и предлагало в разрешении

спора встретиться завтра в 6 часов утра у Симонова монастыря и в честном поединке решить, кому из них надлежало жить под солнцем.

Алексей не пытался заснуть всю эту ночь.

Григорий подходил к дверям его кабинета и в 2 и в 4 часа утра и видел его склоненным перед столом, в свете мерцающих канделябр разбирающим свои бумаги.

Вся острая ясность сознания вернулась к нему. Отчетливо понимая решительный характер минуты, Алексей приводил в порядок свои дела, написал три завещательных письма и, как только начало светать, накинул синее пальто, вставил новую обойму в свой кольт, потушил свечи, дым от которых кругами стал опускаться книзу, и, окинув взором место, где было так много продумано и так много задумано, нажал едва заметный выступ у одного из книжных шкафов. Шкаф бесшумно отодвинулся и обнаружил потайной ход под садом, ведущий к Яузе.

Через полчаса Алексей стоял у подножия ив Лизина пруда. Полоса тумана застилала собою водную поверхность и поворот шоссе, и обнаженные уже осенью деревья чернели изгибами своих ветвей сквозь сизую утреннюю дымку. Восходящее солнце сверкало на каплях росы. Занимался день роскошного московского бабьего лета.

Целых двадцать минут Алексей нервно ходил взад и вперед по вязкому берегу. Стали показываться люди. Какой-то тряпичник порылся своим крюком в куче мусора и пытливо посмотрел на Алексея. Проехали, громыхая, возы с капустой, и, громко разговаривая, прошли две бабы в пестрых платках и кофтах горошком, кутаясь от утренней свежести в шали и боязливо поглядывая на Алексея.

Время, очевидно, было упущено.

Алексей оглянулся кругом, и вдруг ужасное подозрение наполнило его душу. Ясно понял, что непростительно глупо попал в элементарную ловушку. Бегом бросился к заставе.

А когда взмыленный лихач подвез его к яузскому особняку, он увидел его окруженным взволнованной толпой, и через мгновение грубые руки полицейских втолкнули его в кабинет, покинутый им два часа назад, где за своим столом он увидел когда-то встречавшегося ему ранее судебного следователя Иванцова.

Глава пятая,

и последняя, содержащая конец нашей истории и немало доказательств тому, что за Москвой-рекою существует нечто выходящее за пределы допускаемого благонравными педантами

Алексей сразу понял все, когда его обвинили в насильственном увозе его жены Кет и убийстве старика Григория, оказавшего этому увозу сопротивление.

Три дня пришлось Алексею доказывать недоказуемое. Три дня он, запертый в своем кабинете, подвергался унизительным врачебным экспертизам, нелестным перекрестным допросам, и только показания лихача Хорхордина и найденного через газетные объявления тряпичника установили его алиби, подтвержденное несомненными различиями в костюме и единогласными утверждениями всех свидетелей, что убийца был левшой, что согласовалось с характером нанесенного смертельного удара.

Потом его оставили в покое в опустевшем яузском доме.

Алексей проплакал целые сутки в осиротевшей комнате Кет, лишенный сил даже обдумать происшедшее. Его смятенную душу потрясало все близкое Кет.

Он расплакался, найдя красный карандаш, касавшийся ее губ. Непонимающим тупым взором смотрел на ее серые туфли, брошенные посредине комнаты, с ужасом угадывал последние строчки, на которых остановился ее взор в роковую ночь в оставшейся недочитанной книге.

Только два дня спустя у него появилось некоторое сомнение в неизбежности ее гибели, столь очевидной в первые дни.

Алексей постепенно собрал свои мысли и память и начал более спокойно восстанавливать картину ее похищения.

Как это часто бывает, новое потрясение смыло собою старое, и он избавился совершенно от припадков стеклянного оцепенения, постепенно вернув себе былую бодрость.

Осматривая в сотый раз комнату Кет, так и оставшуюся неубранной с рокового утра, он заметил однажды между краем тюфяка и доскою кровати несколько медных монет, зубочистку и сложенную вдвое картонную карточку, очевидно оброненные во время борьбы и просмотренные судебными властями.

Карточка представляла собою рекламный плакат хиромантки и гадалки на бобах и кофейной гуще Элеоноры де Раманьеско, проживающей где-то на Канаве в переулках Пятницкой улицы...

Это было очень немного, но все-таки это был след. Прилив какой-то неожиданной бодрости потряс все Алексеево существо, казалось, сами витиевато напечатанные черные буквы рекламной карточки излучали из себя флюиды энергии.

Ему пришлось немало покружить по набережной Канавы, между Пятницкой и Кадашевскими переулками, пока нашел он то, что требовалось, по сложному и по-московски запутанному адресу.

Был разгар московского бабьего лета. Водовоз заехал на средину обмелевшей Канавы и наливал черпаком воду в свою зеленую бочку.

Двое мальчишек плескались в мутной воде, а куча ребят толпилась около мороженщика.

Реяли паутины, и купы белых облаков стояли неподвижно в призрачном осеннем небе.

Во владении мещанина Перхушкина за деревянным, крашенным вохрой двухэтажным строением оказался чахлый сад запыленной акации и сирени, а за ними мрачный монументальный корпус, каменный, с маленькими окнами, возведенный задолго до Севастопольской кампании.

Алексей долго дергал за ручку дверного звонка и стучал, не решаясь войти в полуотворенную дверь, но, наконец, набрался смелости и перешагнул за деревянный, обитый когда-то войлоком, порог и поднялся по осевшей, покосившейся вправо лестнице во внутренние покои.

Какой-то странный запах лампадного масла, ладана и старых книг, который иногда бывает в архиерейских домах и епархиальных музеях, затуманил его сознание.

Он вошел в первую комнату, очевидно, приемную гадалки, и невольно ироническая улыбка мелькнула на его устах при виде наивной декорации, долженствующей, очевидно, по представлению хозяйки, поразить сознание ее клиентов.

Дико размалеванные по стенам пентакли и астральные треугольники, знаки зодиака и странная мебель в виде треножников, египтообразных курильниц и ампирных соф, в

роде той, на которой возлежит госпожа де Рекамье на картине Давида,— в свете осеннего яркого дня казались театральным бутафорским хламом, купленным по случаю на Смоленском рынке.

Алексей кашлянул и прислушался. В подавляющей тишине он мог различить только, как в отдаленной комнате капля за каплей капала какая-то жидкость.

Очевидно, хозяйка, не ожидая посетителей, ушла по соседству и должна была с минуты на минуту вернуться в оставленный дом. Алексей хотел было в ожидании присесть на одно из «магических» седалищ, но, вспомнив свои, в сущности, сыщицкие намерения, решительно двинулся в глубь внутренних комнат.

Следующая зала поразила его своим еще более выдержанным магическим убранством. Старинные реторты и перегонные кубы, какие-то астролябии и целые ворохи старинных книг в желто-серых переплетах свиной кожи с черными латинскими литерами на корешках вселили в его душу странное смущение, тем более что все эти предметы носили не музейный характер, а имели очень держанный вид и были брошены так, как будто ими только сейчас пользовались.

Алексею вдруг показалось, что все они имеют здесь недекоративный, а свой подлинный, первоначальный серьезный смысл, и у него закружилась голова.

Он взял в руки толстый том, на корешке которого стояло слово «Oculto», и не успел отстегнуть застежку переплета, как книга раскрылась, вырвалась из его рук и закружилась волчком, стала вертеться по комнате, теряя страницы и разбрасывая встречающиеся предметы.

Алексей попятился к окну и отскочил от него потрясенный. Вместо перхушкинского огорода он увидел сквозь оконные стекла сотни осклабившихся рож слетевшихся зеркальных призраков.

Одним прыжком он бросился к двери и выскочил в нее. В ужасе увидел, что вместо гадалкиной приемной, из которой только что ушел, он очутился в огромной зале, в стены которой были вделаны огромные мутные зеркала, где плыли, как поверхность реки, мутные волны каких-то отражений, а в воздухе — то там, то тут — вспыхивали искры электрических разрядов и нестерпимо пахло озоном.

У Алексея все более и более кружилась голова, в глазах

запрыгали огненные кольца, лоб покрылся холодным потом, и он схватился за голову.

В ту же минуту он увидел перед собою в зеркале неистово прыгающее свое отражение, показывающее ему нос и с диким смехом угрожавшее кулаками.

С воплем ярости Алексей кинулся на него и со всего размаха ударился о твердую поверхность. Послышался звон разбившегося стекла. Алексей ринулся в какую-то темную бездну и увидел себя скользящим вверх ногами по поверхности гигантской черной агатовой воронки, на противоположной стороне которой в диком неистовстве скакал его двойник, а внизу суживающегося раструба сверкало залитое ртутью жерло колодца.

Пальцы скользили по агатовому спуску, не оставляя даже следов от впивающихся в полированный камень ногтей, и Алексей видел, как его двойник готовится нанести ему последний удар, когда он достигнет до устья ртутного колодца.

Нечеловеческим напряжением воли в последний момент у самого края бездны Алексей почти с колен прыгнул через ртутную поверхность прямо на спину склонившегося стеклянного человека. Не ожидавший нападения, он оступился и рухнул вниз всей тяжестью своего тела, увлекая с собой Алексея. В неистовой борьбе они слились в клубок и медленно скользили под сверкающую поверхность разжиженного металла.

В ту же минуту Алексей почувствовал, что его колени уперлись в дно. Нечеловеческим порывом он схватился за горло стеклянного человека и, припав к его телу головой, рванул в глубину ртутной бездны. Поднял свою голову наверх и продолжал душить под покровом ртути слабеющего и барахтающегося противника.

Жидкий металл прыгал под его руками, и он не видел ничего кроме сверкающей поверхности, так как *сам он в ней не отражался.*

Стеклянный человек стих, но руки Алексея продолжали его душить, испытывая странное ощущение, будто его жертва набухает, превращается в кисель и расползается. Алексей вздрогнул, увидев, как на ртутных волнах запрыгали какие-то пятна. Мгновением позже он понял, что это куски его отражения, еще разорванные, еще не подчиненные. И в тот миг, когда его пальцы сомкнулись, потеряв остатки

растворившегося в ртути стеклянного существа, он увидел вновь свое полное и подвластное ему отражение.

Силы оставили его, и он с ужасом почувствовал, что ноги и руки подгибаются и он в изнеможении склоняется в адские объятия жидкого металла.

В следующее мгновение он ударился головой обо что-то твердое и на миг лишился сознания. Придя в себя, понял, что лежит на зеркале, нашел силы подняться и увидел себя посредине совершенно пустой залы перхушкинского дома, лежащим на поверхности странного по форме зеркального вещества, как будто бы пролитого на пол и застывшего.

Насколько можно было разобрать при лунном свете, заливавшем все, окна дома были давно выбиты, космы паутины, обоев и пакли спускались со стен и полуобвалившегося потолка.

Алексей встал и убедился, что зеркальная поверхность покорно отражает его; прошелся по комнате и в двери, лишенные створок, увидел, что дом был пуст и, очевидно, многие годы необитаем.

Качаясь, спустился по полуобвалившейся лестнице.

В темноте перхушкинского двора на него залаяла собака, в воротах покосилась баба, щелкая с каким-то солдатом орехи.

Он дотащился до первого извозчика и велел ему ехать к себе за Яузу.

Чувствовал, что все лицо в крови, а тело ныло от синяков и кровоподтеков.

На Спасской башне пробило одиннадцать.

Возница тянулся медленно, и сумрак ночных московских улиц не то радовал, не то болезненно давил Алексея. На Пятницкой его сознание обожгли сверкающие зеркала какой-то парикмахерской. Он остановил извозчика, выскочил из пролетки и с трепетом сердца подошел к витро. Зеркальный овал покорно отразил его бледное, изнеможденное, со следами стертой крови, лицо. Снова поехал.

И ему казалось, что длятся годы и проходят дни от удара одной подковы до удара другой.

Не желая будить домочадцев, остановил извозчика за садом, отворил ключом калитку и вошел потайным ходом.

Бесшумно отодвинулся шкаф с эльзевирами, и вместе с

потоками света на Алексея пахнуло теплом и уютом его кабинета.

Он вздрогнул и оцепенел: у камина, освещенная розовыми отсветами догорающих дров, в старом вольтеровском кресле сидела Кет. Услыхав шорох, она подняла глаза.

London, 1922

Необычайные, но истинные приключения графа Федора Михайловича Бутурлина, описанные по семейным преданиям московским ботаником Х. и иллюстрированные фитопатологом У.

Ольгуньке, девочке моей родной — чтобы не скучала!

Первая часть

Глава I

НАЧАЛО

Летят за днями дни крылаты.

Н. Поповский

Догорали дни московского бабьего лета. Белые плотные облака недвижно стояли на синем, почти кубовом небе. Золото осенних кленов расцвечивало Коломенское и склоны Нескучного. В воздухе реяла паутина. А по ночам холодные лунные тени летящих облаков тревожно проносились по дорожкам московских садов.

Это были последние дни безмятежного московского жития молодого Бутурлина.

С трепетом необычайным вспоминал он впоследствии эти неповторяемые дни своей юности.

Он помнил Орлова, который, устав от созерцания кулашных боев и могучего маха белоснежного Сметанки, часами сиживал на зеленых лугах Нескучного и, смотря в воду поставленной перед ним серебряной купели — старик уже не мог поднимать головы,— ловил отражения бесчисленных голубиных стай, выброшенных с его голубятен в безоблачное небо и белыми облаками реющих над крестами Новодевичьего и над излучиной Москвы-реки.

Это было время, когда Параскева Жемчугова пленяла сердца в Кусковском театре, и двадцать домашних театров московских вельмож безуспешно пытались оспаривать ее

славу; когда Головкин, Теорез и Чефроли наполняли строящиеся дворцы московской знати полотнами великих мастеров, рожденными под горячим солнцем Италии и в призрачных туманах Амстердама, а Новиков и Шварц в тиши масонских лож задумывали планы работ московских мартинистов.

Федору Бутурлину эти дни казались вереницей балов, спектаклей Медоксова театра и чинных ужинов Аглицкого клуба, где бывал он, сопровождая старика отца, и где выслушивал, скучая, суждения былых государственных мужей об ошибках петербургской политики и кознях иллюминатов.

Кочуя с бала на бал, соперничая с Корсаковым в успехах покорения сердец, а с Дундуковым в числе выпитых бокалов, Бутурлин мог почитать себя счастливейшим из смертных, пока в одну из осенних ночей провиденью не оказалось угодным бросить его в круговорот событий необычайных, выбивших на многие годы его жизнь из спокойного русла.

На балу у Разумовских со старой теткой княжны Гагариной сделалось нехорошо, и Марфинька, за которой он более месяца уже ухаживал тщетно, не кончив контраданса, должна была покинуть бал, едва успев заткнуть за обшлаг его рукава коротенькую записку.

С трудом разбирая невнятные слова, Федор вновь и вновь перечитывал четыре строчки, наполнявшие его душу радостью. В волнении необычайном понял наконец, что Марфинька велела ему быть этою же ночью в два часа у ее балкона в саду.

Еще не было и двенадцати, и Бутурлин не представлял себе, как вынесет он вечность двухчасового ожидания.

Сутолока бала его угнетала; его сознание давили мигающие свечи канделябр, голубые лакеи, бесшумно ступая, разносившие прохладительные напитки, и толпы девушек, скользивших по лаковому полу анфилады парадных комнат.

Он невпопад отвечал на вопросы и был бесконечно рад, когда удалось ему незамеченным выбраться с бала и, кутаясь в плащ, скрыться в осеннюю холодную темноту улиц Лефортова.

Было холодно и сыро. Луна все чаще и чаще застилалась громадами надвигающихся на нее туч, и не прошло и полу-

часа, как Федор под струями тяжелого осеннего дождя уже жалел, что слишком поспешно покинул теплые комнаты дворца Разумовских.

Порывы ветра не раз сносили с его головы черную шляпу, а развевающийся плащ, казалось, перестал быть защитою от дождя. Водяные потоки заливали камзол, и Федор с трепетом соображал, во что обратится его наружность через час подобного испытания.

Путаясь в темноте в переулках и спотыкаясь о подвертывающиеся под ноги тумбы, он никак не мог выйти назад к Разгуляю и был несуразно обрадован, когда среди всеобщего мрака перед ним блеснули ярко освещенные, отпотелые изнутри окна какого-то дома. Не отдавая себе отчета в том, что он делает, начал Бутурлин что было сил стучать у его подъезда.

Глава II

ГРАФ ЯКОВ ВИЛИМОВИЧ БРЮС

> Начавши играть на Тотус, отказаться уже от него не можно.
>
> *Расчетистый картошный игрок 1796 года*

Дикая ссора с двумя заспанными и насмерть перепуганными лакеями, хотевшими выбросить Федора на улицу, готова была уже перейти в драку, когда звуки серебряного колокольчика приостановили недвусмысленные намерения встревоженных охранителей.

Через минуту старик-камердинер, ходивший в комнаты с докладом о происшедшем, вернулся и сообщил, что его сиятельство граф Яков Вилимович Брюс изволили закончить вечерние пасьянсы и пред началом утренних просят гостя к ужину.

Мертвенно бледные руки старика, держащие неоконченный вязкою чулок, и все его дряхлое, готовое рассыпаться, тело, облеченное в старую потрепанную ливрею, дрожало от волнения, вызванного необычайностью событий.

Да и Бутурлин, потрясенный именем хозяина, которого почитал умершим еще при жизни своего деда, чувствовал,

как учащенно забилось его сердце, когда его провели по ряду полупустых комнат, по дубовому полу которых бежали тени туч, то открывавших, то закрывавших лунный диск.

Однако он овладел собою и бодро вошел в дверь ярко освещенного кабинета, открытую ему почтительно и в трепете склонившимся лакеем.

— Садись, батюшка, Федор Михайлович! Садись! Гостем будешь! — услышал он дрожащий старческий голос и увидел перед собою за огромным, покрытым зеленым сукном, столом, ярко освещенным двумя мерцающими двенадцатисвечными канделябрами и заваленным десятками карточных колод — дряхлого старика в мундире петровских времен, увешанного звездами и орденами и с зеленым зонтиком на глазах, защищающим старческое зрение от нестерпимо яркого мигания свеч.

Федор, смущенный происшедшим невероятно, опустился в кожаное кресло.

Старик, тасуя одну за другою лежащие перед ним колоды, смотрел на Бутурлина из-под зеленого зонтика своим серым упорным стеклянным глазом и что-то говорил, покачивая головой.

Слова не долетали до потрясенного сознания Бутурлина, и старик, как бы поняв это, повелительно протянул руку в темноту.

Из полумрака внезапно возник лакей, держащий на подносе два бокала, очевидно, с горячим пуншем, так как пламя голубыми огненными языками поднималось над ним.

Огненная влага пламенем пробежала по жилам Федора, с первого же глотка ударила ему в голову, и старик, казавшийся где-то далеко, далеко, вдруг вырос и приблизился, а слова его старческого голоса со звоном ударяли по голове.

Из завязавшейся беседы Бутурлин понял, что граф Яков Вилимович, уже многие десятилетия покинувший свет и лишенный сна, в своем уединении денно и нощно занят раскладыванием причудливых пасьянсов, находя это занятие не менее завлекательным и значительным, чем тот жизненный пасьянс, который довелось ему пережить.

Старческие восковые руки, с длинными желтыми ногтями, трогали потемневшие от времени и диковинными фигу-

рами разложенные на зеленом сукне карты, поясняя значение получившихся сочетаний.

Минута бежала за минутой. Голубые мейсенские фарфоровые часы с пузатыми амурами, стоящие на камине за креслом графа, показывали половину второго, а старик все говорил и говорил.

Из его бессвязных слов выходило, что он более пятидесяти лет не видал ни одного живого человека, и в то же время оказывалось, что он доподлинно знает всю подноготную о всех знакомых и друзьях Бутурлина лучше, чем сам Федор.

При этом выходило как будто бы даже и не так, что старик узнал это из карт, а как-то иначе... Будто сами карты, разложенные на зеленом сукне лефортовского дома, правят незримо человеческими судьбами.

— А как ты, батюшка Федор Михалыч, полагать изволишь, сколько бы дала графиня Дарья Минишна, чтобы промеж них не пиковая, а червонная десятка легла? — говорил, усмехаясь, старик и тыкал своим костлявым пальцем в трефовую даму, окруженную черными мастями.

— Что за вздор!!! — и Бутурлин поднялся из своего кресла, силясь вырваться из гнетущего плена.

— Что? Вздор? Карты мои вздор! — желчно закричал старик.— Да если б ты знал, паскудыш, что здесь разложено! Да если б ты...— старик разразился кашлем, схватился за грудь и, видя, что Бутурлин угрожающе наклоняется к столу, выхватил из средины пасьянса бубновую даму и закричал в ярости: — Не видеть тебе твоей Марьфиньки! Анафема!

Федор в бешенстве сгреб со стола разложенные карты пасьянса в кучу и, схватив одну за другой несколько колод, начал швырять ими в побагровевшее лицо Брюса.

Старик с закатившимися глазами полетел на пол замертво; карты вихрями кружились в воздухе. Свечи зашипели и начали гаснуть, а в открывшиеся внезапно двери хлынула дворовая челядь с факелами и дрекольем.

Бутурлин, однако, торопился; не принимая боя, вышиб ногою балконную дверь и вместе с вихрем несущихся в воздухе карт выпрыгнул в ночную темноту.

Глава III

В ПОРЫВАХ ВЕТРА

> Вообразите богиню любви, когда она вышла из океана; представьте себе глаза небесного цвета, большие, томные, сладострастные, губы маленькие, пунцовые, пленяющие милою улыбкой...
>
> *Н. Макаров*

Ветви деревьев в графском саду гнулись с треском и били Бутурлина по голове. Вихрь, как сорвавшиеся с цепи демоны, рвал облака на небе, вывески с домов, листья с ветвей, и все это, перемешиваясь с картами Брюсова пасьянса, летало в порывах бури перед глазами Бутурлина.

Федор, тщетно кутаясь в плащ и удерживая рукою треуголку, стремился выйти на Покровку к гагаринскому дому...

Однако порывом ветра его всегда сшибало с ног, как только он подходил к нужному повороту. В ушах свистело, и ему казалось даже, что временами он видит за поворотом улицы на крыше дома толстые щеки надрывающегося Гиперборея, совсем такого, как его рисуют в книгах космографии и на старинных картах...

Ветер, ежеминутно менявший свое направление, отдувал его ото всякого нужного ему поворота. Федор, окончательно выбившись из сил, прислонился к стене дома и прислушался, как учащенно билось его сердце.

Сквозь порывы бури услышал он, как на Спасской башне пробило *два*. Час свидания был упущен. Тщетно проборовшись еще полчаса, он отдался наконец на произвол бури, и ветер понес его по улицам, как носит по дорожкам сада осенний кленовый лист; прогнал его сквозь какие-то переулки, пустыри, бурьяны, снова переулки и вдруг стих. Бутурлин в изумлении оглянулся. Он стоял посредине какого-то незнакомого ему сада. Черные мокрые стволы лип окружали его со всех сторон. Порывы бури улетали куда-то вдаль. Падал крупный осенний мокрый снег.

Пред ним из сырого мрака выплывали слабо освещенные и плотно занавешенные изнутри окна и стеклянная полуоткрытая дверь.

Федору почему-то показалось, что он в саду гагаринского дома и там, за этими шелковыми занавесями, его ждет Марфинька.

Понял свою ошибку, только когда затворил за собою дверь и, вдохнув насыщенный духами воздух, раздвинул материю занавесок.

Перед ним на краю кровати сидела незнакомая девушка и горько плакала.

Черные пряди ее наполовину распущенных волос падали на тонкое полотно украшенной кружевами рубашки. Кругом в страшном беспорядке было разбросано только что снятое платье, казалось, еще хранившее теплоту ее тела.

Комната тонула в каком-то теплом, насыщенном запахом женских духов и розовой пудрой тумане.

Плечи девушки вздрагивали, и она, смотря прямо перед собой широко открытыми черными глазами, плакала беззвучно катящимися слезами.

Сердце Бутурлина билось все сильнее и сильнее. Потрясенный до глубины души, он почувствовал, что вся жизнь его до этой минуты потеряла цену в его глазах.

Покорный волшебному очарованию, он раздвинул скрывавшие его занавеси и опустился на колени около незнакомки.

Та вздрогнула, в ужасе посмотрела на него и, когда он попытался что-то сказать, с неожиданной быстротой приложила палец к губам в знак молчания, а другою рукою молча, но повелительно показала на дверь.

Федор, забывши, где он и что с ним, схватил ее руку и покрыл поцелуями.

Девушка силилась освободиться и встала. В каком-то пароксизме любовного опьянения Федор, не сознавая, что делает, не выпустил ее руки и только еще крепче сжал ее, между ними завязалась напряженная молчаливая борьба. Вырываясь из непрошеных объятий, девушка неосторожным движением сбросила ленту со своего плеча, и ее рубашка скатилась на пол.

Федор дико вскрикнул.

Вслед за белоснежной белизной груди перед ним блеснуло тело, все сплошь покрытое рыбьей чешуей.

Почти тотчас в соседней комнате за дверью послышались тяжелые мужские шаги, и через мгновение, в которое девушка успела спрятать своего мучителя за занавесями

двери и накинуть на себя какой-то халат, в комнату вошел седой человек в военном мундире.

На его сердитый окрик девушка ответила что-то, называя старика дядей, он недоверчиво отвернулся от нее и, подозрительно осмотрев комнату, уже собрался уходить, как вдруг порыв ветра, ворвавшийся в полуотворенную дверь, поднял дверные занавеси чуть ли не до потолка, и Бутурлин оказался лицом к лицу перед побагровевшим от ярости полковником.

Старик с диким ревом бросился на него, и после нескольких мгновений ожесточенной борьбы, избитый, в разорванном платье, Федор вырвался и, выскочив в сад, убежал, оставив плащ в руках своего преследователя.

Глава IV

ИЛЛЮМИНАТЫ

> В прошедшую ночь найден подле Вестминстерского Аббатства человек, неизвестно кем зарезанный.
>
> *Н. Макаров*

Ветер уже прекратился, но снег валил хлопьями, как в январе.

Руки и ноги Бутурлина коченели, он скользил в снежных сугробах и не понимал, в какой части города находится.

На какой-то площади наткнулся на спящего стоя будочника. Желая его разбудить, потянул его за рукав и в ужасе увидел, как будочник, не разгибаясь, упал навзничь, как кукла, и Федору даже показалось, что у сторожа под ногами была круглая подставка, как у деревянного солдатика.

Наконец, добрался до реки и несказанно обрадовался, когда из гнилого тумана пред ним выплыли знакомые очертания Яузского моста.

Пар клубился над черными струями реки. Деревянная настилка моста глухо и неестественно громко застучала под ногами Федора.

Дойдя до середины моста, Бутурлин в ужасе бросился бежать обратно — ему показалось, что из черных вод Яузы

высунулись какие-то несусветные хари и, дико хохоча, протягивают к нему свои лапы.

Снежный вихрь и мороз снова охватили его.

Пробираясь из улицы в улицу, он вдруг заметил, что сзади крадутся по стене две какие-то тени. Он перешел на другую сторону улицы, потеряв в порывах бури свою шляпу, и бросился бежать к перекрестку, но внезапно остановился. Из-за угла высунулась чья-то голова и тотчас скрылась. Федор резко повернулся, сбил с ног напавшего на него из темноты человека, но в тот же миг почувствовал, что на его голову накинули мешок, схватили за ноги, повалили и, завязав во что-то мягкое, понесли.

По движениям своего тела и толчкам понял он вскоре, что его втащили по лестнице в какой-то дом и положили на пол. Через несколько мгновений почувствовал острую боль в ноге от неосторожно затянутой веревки. Его развязали и сдернули с головы мешок.

Перед ним за длинным, покрытым черным сукном столом сидело несколько человекоподобных существ. Их головы были закрыты капюшонами, в прорезы которых сверкали белки разъяренных глаз.

По железным и золотым эмблемам, лежащим на столе, по семисвечникам, колеблющимся в руках двух стоящих по бокам и также замаскированных прислужников, Бутурлину стало до жути ясно, что он был в руках иллюминатов, само существование которых еще вчера отрицал и почитал вымыслом досужей фантазии.

Не обращая на него никакого внимания, ужасные фигуры, нагибаясь друг к другу, обменивались суждениями и излагали в коротких словах свои мнения.

У Бутурлина волосы стали дыбом и на лбу выступил холодный пот, как только он сумел из доносящихся до него слов уловить содержание их речей.

Вопрос шел даже не о его судьбе. Смертный приговор был, очевидно, установлен заранее. Казавшиеся ему гигантскими человеческие существа спорили только о форме казни, долженствующей разорвать его бренную плоть. Вникая в перипетии дьявольского судоговорения, Федор понял, что его обвиняют в разрушении астрального плана и гармонии вселенной, в том, что его дерзновенной рукой пресечены жизненные нити, столетиями сплетенные в гармонию обществом иллюминатов, что разорваны в клочья сотни

семейств, что благодаря ему страны будут потрясены самозванцем, погибнет славное королевство и гидра, его пожравшая, потрясет Европу и сожжет Москву, которая допрежде того будет испытана моровою язвой.

С правого конца стола до него доносилось:

— ...понеже есть он зловреднее Ковенька, надлежит злодея четвертовать, сжечь и прах оного развеять из четырех пушек в четыре стороны света.

— Отрицаю сие, брат Теодорт! — послышалось слева, — ибо зловредная субстанция оного, разнесенная Гипербореем по миру, отравит народы!

Спор разгорался. Федор оглянулся кругом, ища путей к бегству, и потрясся новым ужасом. Полутемная и пустая совсем зала была лишена окон и дверей, а за его спиной около дымящихся жаровен с бурлящими на них котлами и орудиями пытки стояла полуобнаженная стража и палачи, на потных мускулах которых играли отблески вспыхивающих углей.

Изнемогая от ужаса, Бутурлин упал лицом на пол и заткнул уши, чтобы не слышать старческий фальцет, объяснявший преимущества колесования над поедением крысами.

Раздался звон председательского колокольчика. Грубые руки подняли Федора и поставили на ноги. Ужасные судьи подписывали приговор.

Не понимая половины из медленно читаемых ему фраз, Бутурлин слушал, что братство иллюминатов, рассмотрев значение содеянного им во время преступного вторжения в обитель брата Якобия, постановляет — предать дух Сенахериба — Децимия — Анания — Федора анафеме, а тело его в Федоровом воплощении залить живым в бочку с воском и направить через Архангельск в подвалы «Red star» в Вульвиче, куда и впредь ставить бочки с завощенными в них телами всех будущих его человеческих воплощений, давая им достигать не выше семнадцатилетней грани жизненного пути.

С минуту Федор бился в исступлении в дюжих руках палачей, потом почувствовал себя втиснутым внутрь бочки, на его плечи, шею, руки потекли, обжигая, струи растопленного воска.

В тот же момент зала наполнилась яростными ударами, шумом голосов и звоном оружия. Восковой поток прекратился.

Гвардеец, майор Хоризоменов, по приказу ее Императорского Величества Государыни Императрицы, выследивши преступное и богу противное тайное общество иллюминатов, вовремя ворвался с нарядом преображенцев в залу судилища, помог Бутурлину вылезти из бочки и допрашивал его о случившемся, в то время как дюжие гвардейцы ловили по комнатам разбежавшихся иллюминатов.

Было около четырех часов утра, когда Федор в сопровождении охранявшего его гвардейского сержанта подходил к дому своего отца.

Глава V

БЕГСТВО

Царевна, корабли стоят готовы к бегу
И только ждут они тебя одной со брегу.

М. Ломоносов

Швейцар Афанасий, взволнованный и бледный, отворив Федору дверь, доложил ему, что батюшка ожидали его всю ночь в своем кабинете и просят к себе, не мешкая.

Михайло Бутурлин, старый генерал, служивший еще при Минихе, встретил сына неласково и молча приказал ему сесть в кресло.

Федор только теперь, в тишине отцовского дома, когда отлетели все страшные призраки сегодняшней ночи, понял, что случилось что-то непоправимо недоброе.

Тишина отцовского кабинета, пристальный взгляд старика и его молчание, его сухие руки, держащие какой-то конверт, показались ему еще значительней, еще ужасней, чем все события безумной ночи.

Старик, видимо, взволнованный и потрясенный, хотел ему что-то сказать, но закашлялся и молча протянул через стол сложенную вчетверо бумагу.

Буквы прыгали в глазах Федора, казались ему то бубновой девяткой, то пятеркой треф, и только с большим напряжением воли он мог разглядеть написанное и в ужасе остолбенел.

Градоправитель Москвы, сам князь Петр Михайлович

Волконский, писал его отцу, что по неисповедимому стечению обязан он завтрашним утром взять под стражу графа Федора Бутурлина по подозрению в убиении будочника на Таганской площади. Но, памятуя многолетнюю свою боевую дружбу с графом Михаилом Алексеевичем, допрежде того его предупреждает, чтобы снарядил он сына к поспешному бегству, чего ради приложены подорожные, подписанные задним числом. Саму же записку осторожности для просит сжечь.

Старый граф ни слова не прибавил сыну и, прощаясь с ним надолго, может быть, навсегда, почел нужным передать ему пакет, из содержания которого Федор, когда будет в безопасности, сможет узнать семейную тайну, доселе от него скрываемую, и, сняв с груди медальон с портретом его матери и локоном ее волос, надел его на шею сына, благословил и отпустил подкрепиться пред отъездом.

Когда Федор, согнувшись под бременем тяжести навалившихся на него событий, уходил из кабинета, он видел в мерцании свеч, как слезы беззвучно катились по восковым щекам старика, а за окнами дома в порывах возобновившейся бури ему чудился смех Брюсова голоса.

Матреша, черноглазая горничная девка, освещала свечой Федору его путь по коридорам большого дома еще петровской стройки. Кровь молотком стучала в его висках, а в глазах, перемешиваясь с несущимися по воздуху картами Брюсова пасьянса, вставали ужасные видения безумной ночи.

Он чувствовал, как дрожали его локти, и с тоской необычайной впитывал в последний раз уютную теплоту отчего дома, который должен был покинуть, как изгнанник, на долгие годы, может быть, навсегда.

У него с тоской сжалось сердце, когда он прошел мимо старого дивана, на котором он еще так недавно впервые поцеловал руку Марфиньке Гагариной, посмотрел на домодельные занавеси у окон и с болью необычайной почувствовал, как дорога́ ему здесь каждая вещь, каждое пятнышко, даже пуговицы на ночной кофточке Матреши...

Он посмотрел на ее толстые косы, спускавшиеся до пояса, на ее мерно подъемлющуюся под кофточкой грудь и будто в первый раз увидел ее... Удивился, что, живучи годы под одною кровлею, не замечал он ранее, как красивы ее глаза и густо покрасневшие под его взглядом шея и уши...

Внезапно почувствовал, что эта девушка стала для него бесконечно близкой и нужной. Когда она отворила дверь его спальни, поставила на ночном столике свечу и хотела с поклоном уйти, он удержал ее за руку.

Она не сопротивлялась, только покраснела еще больше и наклонила голову.

Не сопротивлялась она и тогда, когда он поднял ее на руки и с бьющимся сердцем понес к кровати, покрывая поцелуями ее шею и обнажившуюся из-под кофточки грудь...

Уже светало, когда огромная бутурлинская дорожная карета, проехав Дорогомилово, выбралась на Смоленскую дорогу.

Вторая часть

Глава I

СТРАНСТВОВАНИЕ

Ты был открыт в могиле пыльной,
Любви глашатай вековой,
И снова пыли ты могильной
Завещан будешь, перстень мой.

Д. Веневитинов

Уже более года молодой Бутурлин колесил по Европе и все еще не мог понять и свести концы с концами события роковой ночи, разломившей надвое его жизнь.

Он был в Англии, где по дороге от Гарвича в Лондон ехал со словоохотливым итальянцем в портшезе и был едва не ограблен конными ворами под самыми предместьями столицы.

В Лондоне бродил по кондитерским со славным Ричардсоном, видел битву петухов, ученого гуся и знаменитых кулачных бойцов — Жаксона и Рейна ирландца.

В Ковенгардене его не столько поразила игра мисс Сидонс, сколько искусная перемена декораций, а посещая итальянскую оперу, как вспоминал он впоследствии, должен

был он по обычаю облечься в длинные белые чулки и треугольную шляпу.

Подъезжая к Парижу, Бутурлин был охвачен радостным трепетом и нервно перечитывал описания диковинной жизни Нинон Ланкло, мечтая совершить паломничество на улицу Капуцинов, где жила прелестница. Однако, когда его карета миновала ворота св. Дениса и углубилась в извивающуюся, как ящерица, между трактирами, булочными и мастерскими улицу, полную криков и оживления — Федор понял, что действительность превзошла все его ожидания, и на несколько месяцев потонул в круговороте величайшего из городов и сделался завсегдатаем кофеен Пале-Рояля, посетителем первых представлений и покровителем искусств.

В конце лета, наскучив бесцельным содержанием диковинной заграничной жизни и легкими победами над случайными соседками по гостинице и артистками, Федор решил провести целый вечер в полном одиночестве, у себя дома. Когда стемнело и зажгли свечи, он вынул из дорожного сундука отцовский пакет, забытый в вихре неизведанных наслаждений, и, разложив на столе его содержимое, стал его рассматривать. С замиранием сердца Федор взял письмо, написанное дрожащей рукой старого Бутурлина, и прочел потрясшее его повествование о том, как его отец 45 лет тому назад, услыхав в окрестностях Фонтенебло крики и выстрелы, прорвался сквозь кусты на поляну и увидел там разграбленную карету, убитую даму и корзину с маленькой девочкой, ставшей впоследствии Федоровой матерью и прославленной красавицей Бутурлиной. В руках убитой найден был кусок бумаги, крепко зажатый между окоченевшими пальцами, но ни он, ни другие найденные вещи не могли объяснить, кто была покойная и зачем попала она в кусты около парка великого Франциска.

Помимо судебного протокола о найденной в окрестностях Фонтенебло убитой женщине, списка бывших при ней вещей, старинной узорчатой золотой цепи и поблекших лент, нашел он пергаментный конверт и в нем кусок плотной бумаги, покрытой с одной стороны оттиском деревянной гравюры и печати. Это и был, очевидно, кусок страницы, вырванный из книги и найденный сжатым в руке его бабушки.

Перевернув его на другую сторону, Федор заметил на краю разрыва несколько букв, представляющих собою

остатки четырех строк, написанных когда-то по-латыни.

Жгучее любопытство узнать тайну своего происхождения захватило с этой минуты Бутурлина безраздельно.

Ученый-иезуит аббат Флори сказал ему, что страница принадлежит редчайшей немецкой книге «Ars moriendi», печатанной в середине XV века, и что для открытия тайны необходимо найти ту самую книгу, из которой она была вырвана.

Книгу же всего вероятнее найти в монастырских или университетских библиотеках Германии, так как во всех трех экземплярах этого издания, известных аббату по библиотекам эскуриала в Испании, монастыря доминиканцев в Реймсе и королевской библиотеки в Париже, все страницы были в целости.

На Германию же указывало и несколько североготическое очертание букв в оставшихся следах подписи.

Федор был охвачен новыми идеями со всей страстностью варвара, попавшего в Рим, и в тот же день, бросив недочитанным забавное приключение Теострики и Лиобраза и забыв о свидании, назначенном ему мамзелью Фражеля, выехал через ворота св. Мартина из Парижа и начал посещать библиотеки монастырей, дворцов и университетов, сопровождаемый аббатом Флори и своим крепостным Афанасием, приставленным к нему старым Бутурлиным не то для услуг, не то для наблюдения.

Совершенно иной мир открылся Бутурлину.

Перебирая страницы инкунабул, любуясь причудливыми гравюрами «Танца смерти» и событиями мировой хроники, изображенными искусным резцом Волгемута, Федор вдыхал в себя вместе с запахом старых книг отстой вековой мудрости и как-то по-иному понимал мир и по-иному смотрел на окружавших его студентов, библиотекарей, доцентов и клириков, сочетавших теоретические споры с веселыми попойками в винных погребах Нюренберга и рейнских городов.

В библиотеке монастыря св. Урсулы в окрестностях Ротенбурга Бутурлин встретился с Мадленой Фаго, молодой француженкой, которая сосредоточенно искала что-то в старых магических книгах и темных манускриптах кабалистов, зачитывалась творениями Агриппы и, нахмурив брови, силилась понять запутанные формулы Николая Фломеля.

Однако молодость брала свое, и после дня, проведенного над страницами старых книг, пожелтевших и пахнувших тленьем, молодые люди, обычно в сопровождении двух сыновей баварского графа Регенсбурга, изучавших надписи могильных плит на кладбищах юга Германии, отправлялись гулять по горам и полям, окружавшим тихую обитель аббата Флори.

Аббат Флори с неудовольствием начал наблюдать, что Бутурлин начинает заглядывать в глаза Мадлены и на локоны ее золотистых волос более, чем на страницы инкунабул, а молодой Регенсбург все реже и реже сопутствовал своему брату в путешествиях по окрестным кладбищам и явно предпочитал рассмотрению заросших мохом могильных плит помощь Мадлене в ее поисках древних сказаний о морских женщинах-нимфах.

Дружба молодых людей, диковинно возникшая в старой библиотеке, все более и более приобретала любовный аромат, а несомненная ревность предвещала серьезность начавшегося романа, как вдруг непредвиденный случай прервал цель его логического развития.

Мадлена, сдерживая свое волнение под взором неотступно сопровождавшей ее сестры кармелитки, следила, как ее молодые друзья соперничали в срисовывании пентакля Ариэля из книги Гермеса Каппадокийского, как вдруг двери монастырской читальни распахнулись, и старший Регенсбург вбежал в комнату со словами: «Рупрехт! Я нашел могилу Мардария!»

Глава II

ГРОБОКОПАТЕЛИ

> О натура! Неужели же подлинно человек рождается злее всех хищных зверей!
>
> *Н. Макаров*

Мадлена осторожно затворила балконную дверь, опираясь на руку Рупрехта и наступив на склоненную спину Бутурлина, соскочила на землю, радуясь, как школьница, своему бегству.

В харчевне «Трех Королей» старший Регенсбург пове-

дал спутникам свою тайну и рассказал, что более ста лет тому назад, когда имперские солдаты Тилли грабили протестантские замки Баварии и Пфальца, семья Регенсбургов решила бежать в Голландию и, разделившись на маленькие группы, стала пробираться из Пфальца на Кельн и Ахен. Половина всего состояния семьи, все ее фамильные бриллианты и другие драгоценные камни доверены были старому дворецкому Мардарию, верному, многократно испытанному слуге, который, переодевшись купцом, стал пробираться на Кобленц. Однако в самом начале своего путешествия был ограблен имперскими мародерами и убит. Драгоценности попали в руки солдат и были поделены ими между собою.

Среди похищенных драгоценностей находились *девять* несравненных ни с чем по величине и блеску алмазов, некогда украшавших корону иерусалимских королей, спасенную одним из предков Регенсбургов при разгроме Радоса.

В течение столетия то в Париже, то в Амстердаме, то у торговцев Лондона в ювелирной продаже появлялись отдельные камни, украшавшие историческую корону. С неимоверными затратами различные поколения Регенсбургов скупили все 8 появившихся в продаже камней и вставили на старые места в железную корону, и только последний девятый камень, самый большой, не уступающий по блеску благородному Санси, ни разу не увидел света ни в ломбардах, ни на прилавках ювелиров Европы. Он был настолько несомненен в своей драгоценности, настолько ярок в своем блеске, что просто затеряться он не мог.

Пятьдесят лет назад в корону иерусалимских королей был вставлен восьмой алмаз, купленный у старого Суавиуса в Амстердаме, и с тех пор на ювелирном рынке не попадалось более никакого намека на бриллианты иерусалимской короны. Все поиски были брошены за очевидной бесполезностью еще при деде Франца, как звали старшего Регенсбурга, и только теперь молодое поколение возобновило их с новой силой.

Разбирая старые документы и прослеживая шаг за шагом все путешествие Мардария и картину его убийства, молодые Регенсбурги вскоре пришли к твердому убеждению, что верный слуга, видя бесцельность сопротивления своим грабителям, успел проглотить драгоценный камень и унес его с собою в могилу.

Два года Рупрехт и Франц искали могилу верного доверенного, уверенные, что в ней они найдут утерянный камень, и только сегодня Франц, остолбенев от восторга и страха, увидел плиту с начертанными на ней именем Мардария и датой, не оставляющей сомнения в том, кто под ней был похоронен.

Свет от фонаря ложился на стволы кладбищенских деревьев, подкупленный сторож нес заступы и веревку с ведром; Бутурлин, сопутствуемый Регенсбургами, вел под руку Мадлену, которая заметно дрожала от волнения и ночной сырости.

Тяжелая плита была отодвинута в сторону, и железные заступы, скрипя, вонзались в могильную землю, отбрасывая сырую почву. Работали лихорадочно, сменяя друг друга, ища до рассвета покончить преступное дело.

Через полчаса заступ Рупрехта ударился о стенку гроба и, пробив ветхое дерево, провалился в пустоту. Стали сгребать землю руками. Федор чувствовал, как дрожали в страхе его колени, когда в колеблющемся круге фонарного света вырисовались очертания гроба.

Сняли крышку гроба, и Франц нетерпеливой рукой сдернул полуистлевший саван. В мерцающем свете фонаря среди желтых костей скелета из-под оскалившихся ребер в глаза гробокопателей блеснули голубые лучи бриллианта герцога Бульонского.

В тот же момент Бутурлин почувствовал, что какие-то тени перебегают между деревьев кладбища. Ударом ноги он разбил фонарь и, схватив на руки и без того бывшую в полуобморочном состоянии Мадлену, одним прыжком отскочил от могилы, над которой с факелами и дрекольем выросла толпа поселян, предводительствуемая священником и трактирщиком «Трех Королей», очевидно, выследившим своих подозрительных гостей.

Свалив ударом ноги в живот какого-то парня, бросившегося его догонять, Бутурлин, прижимая к груди драгоценную ношу, добежал до кладбищенской стены, взобравшись на которую увидел прямо под собою белую жандармскую лошадь.

Спрыгнув с забора прямо на трактирного служку, держащего лошадь под уздцы, и свалив его ударом кулака, Бутурлин перебросил через седло безжизненное тело Мадлены и бешеным галопом поскакал к Морхейму.

Глава III

ДАНЬ АФРОДИТЕ

Они бегут, храпят их кони.

А. Пушкин

После часа безумной скачки без дорог, сквозь кусты, через какие-то канавы и заборы Федор понял, что сумел оторваться от преследования, и храп рыжей лошади, скакавшей за его спиной, уже перестал давить его сознание.

Погоня явно потеряла след.

Покружившись по каким-то хмельникам, Бутурлин, прижимая к груди трепещущую от ужаса спутницу, выехал на дорогу и коротким галопом погнал взмыленного и задыхающегося белого коня. Однако не прошло и десяти минут, как лошадь остановилась, задрожала, опустилась на передние ноги, и едва беглецы успели соскочить на землю, как она в судорогах упала на спину.

Федор оглянулся кругом и заметил на ближайшем перекрестке силуэт какого-то дома.

Толстый вестфалец, содержатель постоялого двора под вывеской «Короля Артура», сообщил беглецам, что лошадей может дать только утром, и отвел им для ночлега огромную комнату с дубовым аугсбургской работы шкапом и старинной кроватью под пологом.

Бутурлин посадил свою спутницу, вздрагивающую при каждом шорохе, в большое кресло и опустился на ковер около ее ног. Старался успокоить ее веселыми рассказами из своей жизни, которые приходили ему на ум, в волнении вспоминая теплоту ее тела, так близко и трепетно прижавшегося к нему во время их бегства.

Толстая свеча, нагорая, теплилась на столе и отбрасывала черные колеблющиеся тени собеседников на стены, обитые старым штофом. Ветер качал ветви деревьев, стуча ими в незанавешенные окна... было жутко и невыразимо сладостно.

Федор несвязно рассказывал свои московские приключения, сбиваясь и путаясь, весь охваченный очарованием своей спутницы, следя линии ее плеча и угадывая очертания груди под тонким полотном рубашки.

Девушка, забравшаяся с ногами на кресло, прижималась к его высокой спинке и слушала, ничего не понимая в словах Федора, биение его сердца.

Шли минуты, и Федору казалось, что весь мир тонет в отстоях любовных отрав.

Вдруг Мадлена лукаво улыбнулась и как бы неосторожным движением уронила на пол свечу, которая погасла и, шипя, покатилась по ковру.

Молодые люди бросились ее поднимать, их руки встретились, и Федор почувствовал, как в его губы впились влажные губы его спутницы, а ее грудь прижалась к его плечу... Через мгновение он разорвал последние крючки ее платья и в опьянении страсти покрывал поцелуями ее обнаженное, жаждущее тело. Федору казалось, что горячее тело Мадлены течет под его руками огненными струями эликсира финикийской Истар, и он был поражен любовной опытностью воспитанницы монастыря серых кармелиток.

Изобретая все новые и новые ласки, он коснулся рукою бедра своей подруги и весь содрогнулся... вскрикнул... под его пальцами скользнула холодная рыбья чешуя.

Мадлена, очнувшись от безумия страсти, вырвалась из его объятий и, забившись в глубь кровати, зарыдала.

Бутурлин провел рукою по лбу, покрытому холодным потом, и весь ужас безумной московской ночи вновь раскрылся пред ним. В глазах запрыгали Брюсовы карты, эмблемы адского судилища. Потребовалось все напряжение воли, чтобы вновь прийти в себя.

Федор нагнулся к рыдающей девушке и начал гладить ее волосы, а она доверчиво прижалась к его груди.

Уже светало, когда Мадлена окончила рассказывать необычайную историю своей жизни.

Бутурлин, с широко открытыми от ужаса глазами, слушал ее рассказ о том, как два года назад Мадлена и ее подруга Жервеза де Буатраси плавали у берегов Алжира на стопушечном фрегате, которым командовал ее отец, старый адмирал Фаго, и как они выловили из моря уродливую рыбу с почти человеческой старческой головой, как старый боцман и другие матросы умоляли бросить чудище назад и как обоим девушкам в припадке безумного увлечения захотелось угостить им адмирала, любителя изысканных рыбьих блюд.

Чудовищная рыба со стоном билась в их руках, когда

старый корабельный повар счищал с нее чешую, летевшую во все стороны.

Жервеза порезала себе руку, а Мадлена два раза была осыпана чешуйками, попавшими ей за корсаж.

Зато было весело, и адмирал остался доволен.

Ночью Мадлена никак не могла отскоблить приставшую к ее коже на бедре рыбью чешую, а порез Жервезы вздулся, и вся она посинела настолько, что адмиралу пришлось зайти в Кадикс и оставить девушку на излечение в монастыре святой Агаты и одному отправиться в дальнейшее плавание.

Через два дня пришло известие, что фрегат, разбитый штормом, погиб где-то у марокканского берега.

Чешуйки на бедре Мадлены не только не отскочили, но, как ногти, вросли в тело и начали, размножаясь, расползаться дальше и дальше. Жерверза почувствовала, что все ее посиневшие ноги покрылись слизью, из-под которой стала нарастать рыбья чешуя.

Для Федора перестало быть тайной, кто была встреченная им московская наяда, когда Мадлена, описывая тщетные усилия докторов и католических епископов, сообщила, что в конце концов на семейном совете было решено спрятать их подальше от Парижа. Мадлену сослали в город Лимож в монастырь серых кармелиток, а Жерверза уехала на несколько месяцев куда-то на восток к мужу своей тетки, английскому дипломату.

— Где же она сейчас! Где Жервеза! — воскликнул Федор, у которого от волнения пересохли губы и кружилась голова.

— Она утонула год тому назад, возвращаясь из Копенгагена в Англию. Бросилась в море, как только показались белые скалы Дувра. Впрочем,— добавила Мадлена тихо,— видевшие ее гибель матросы говорили, что в волнах она поплыла, и даже будто им показалось, что у нее вместо ног был виден рыбий хвост.

Руки Федора дрожали. Он гладил белокурые пряди волос своей подруги, а в предрассветном розовом тумане, клубившемся в саду, ему чудились черные косы, когда-то виденные им в лефортовском домике.

Глава IV

«ЭЛИКСИР ТРИРСКОГО АРХИЕПИСКОПА»

И учрежденное врачебных дел начальство
Полезным признает сие твое лекарство.

В. Рубан

Большая черная карета, громыхая по камням крепостного моста, въезжала в узкие улицы Кельна.

Мадлена, наполовину высунув свое преисполненное счастьем и радостью лицо из-за занавесей кареты, смотрела на стройную фигуру Бутурлина, ехавшего рядом с экипажем и рассказывавшего ей о строителях собора и адском литейщике его дверей.

Аббат Флори дремал, откинувшись на спинку сиденья. Старый иезуит нагнал влюбленных в Кобленце и, узнав тайну Мадлены, убедил ее бросить старые бредни кабалистов о морских женщинах и заняться поисками склянки архиепископа трирского Мелхиседека с остатками той святой воды, при помощи которой трирский угодник исцелил 500 прокаженных и изгнал бесов из 5000 бесноватых, представших ему в праздник святой пятидесятницы в 1074 году.

По словам Флори, один из старых кельнских каноников говаривал ему, что местонахождение священной воды многим известно, но что употреблять ее завещано не иначе как против несомненного дьявольского наваждения.

Казалось, богиня счастья подлинно улыбнулась Бутурлину одной из своих продолжительных и ярких улыбок.

Их месячное путешествие по берегам Рейна, веселые ужины в гостиницах, горы, покрытые буковыми лесами, водопады,— все наполняло их сердца радостью и заставляло сверкать их глаза.

Удача сопутствовала им и в Кельне. Флори разыскал старого причетника, сведущего в церковных преданиях, и узнал от него, что драгоценная склянка покоится в Аахенском соборе, под медной плитой пустой могилы заживо погребенного в 1473 году и на восьмой день восставшего к жизни игумена Адельберта Турского.

Причт Аахенского собора внял настойчивым доводам Флори и бутурлинским дублонам, и когда после молебствия

тяжелая медная доска поддалась усилиям церковных сторожей, перед собравшимися открылся пустой гроб, наполненный рукописными книгами, старинными потирами и дарохранительницами, среди которых виднелась зеленоватая стеклянная бутыль. На ее дне еще оставалось несколько капель священной воды, благословленной рукой трирского архиепископа Мелхиседека.

Прикосновения одной капли священной жидкости, сопровождаемого молебствием против дьявольского наваждения, было достаточно для того, чтобы адова чешуя потускнела и осыпалась, как стружки, с тела Мадлены.

Пока клирики разбирали золотые сосуды, украшенные сапфирами и смарагдами, трое путников поспешили выйти из темноты собора, унося в карманах Флори священную склянку и древнюю латинскую рукопись, брошенную клириками на пол, в которой, однако, просвещенный иезуит угадывал не открытые еще строки Виргилия.

Чудо Аахенского собора положило грань безмятежному счастью молодых странников.

Мадлена сделалась вдруг серьезной и богобоязненной, обсуждала с Федором полную необходимость вернуться в ее родовой замок к матери и убеждала Бутурлина перейти в католичество, что было совершенно необходимо для их бракосочетания и на чем уже давно настаивал Флори.

Однако Федор рассеянно слушал ее речи. Ему показалось, что за ним вновь, как полгода назад в Лондоне, следят на каждом повороте; он замечал отбегавшую тень и не раз видел перед собой в толпе человека с явно наклеенной бородой, и притом наклеенной именно так, как делали это, по рассказам, только тайные агенты иллюминатов.

Придя домой, он рассказал об этом Мадлене, вычистил и зарядил свои пистолеты, проткнул, фехтуя, несколько раз воображаемого противника, но все же отправил в Кельн в своей карете одного Флори, прося его с первой же станции сообщить, если все окажется благополучно.

Весь день просидели в комнате с занавешенными окнами, а вечером прибежал чудом спасшийся форейтор и сообщил, что горный обвал опрокинул бутурлинскую карету вместе с несчастным аббатом с высокого берега вниз, где она и разбилась в щепы.

Не мешкая ни минуты и привязав священную склянку трирского архиепископа к цепочке медальона с портретом

матери, Бутурлин воспользовался ночной темнотой и, оставя на столе золотой для расплаты с хозяином, вылез со своей спутницей из занимаемой им комнаты через окно и, наняв где-то в пригородах частную карету, поскакал в ней в направлении Лютиха.

Не успели они отъехать и 2 мили, как услышали сзади себя топот лошадей и крики погони. Четверка лошадей, увозящих карету, мчалась вся в пене, но, как было видно в заднее окно кареты, группа скакавших за ними вооруженных всадников не только не отставала, но постепенно приближалась все более и более. О сопротивлении нечего было и думать. Любовники уже готовились к смерти и обнялись в последний раз, как вдруг Мадлене пришла на ум счастливая мысль, и она заставила Федора надеть ее золотое женское платье, захваченное при бегстве с собой, утверждая, что со своими белокурыми волосами и розовым пухом вместо усов он будет неотличим от герцогини де Труа Верже, блиставшей в то время в Версале.

Едва только была застегнута верхняя пуговица платья и последние признаки мужского достоинства вместе с пистолетами и шпагой были запрятаны под сиденье, два гусарских сержанта проскакали сбоку кареты и схватили ее лошадей под уздцы, а офицер, ударом сабли раскроив голову обезумевшему вознице, отпер дверцу экипажа.

Вооруженные всадники с проклятиями и угрозами окружили карету, ожидая отчаянного сопротивления ее седоков.

С тем большим удивлением начальник пограничного отряда, майор Рорбах, вместо преследуемого им старика-фальшивомонетчика увидел двух очаровательных и насмерть перепуганных девушек и почел своим долгом сам сесть на место убитого возницы и довезти юных путешественниц до голландской границы в Ван-Хостене.

Оживленно беседуя с майором о превратностях судьбы и тяжести пограничной службы, они подъехали к пограничному мосту, забитому вереницей карет, и приготовились к томительному ожиданию, как вдруг чей-то голос назвал Мадлену по имени. Мадлена, всю дорогу дрожащая в страхе, вскрикнула от радости и бросилась на шею подруге своей матери, герцогине де Перпеньяк, едущей со своим двором в рейнские поместья.

Герцогиня потребовала, чтобы Мадлена ехала в ее каре-

те. Произошло полное перемещение экипажей, и в карету Бутурлина посадили хорошенькую высокую брюнетку в розовом платье, грустно смотревшую по сторонам и односложно отвечавшую на расспросы Федора, весьма удачно имитировавшего женский голос. Путешествие продолжалось целый день. Ехали не торопясь, останавливаясь для прогулок и для обеда. Герцогиня не отпускала Мадлену ни на шаг от себя, и Федор не раз замечал, как ревнивый огонь сверкал в глазах его подруги, когда видела она его беседующим с Марион д'Англо, как звали его черноволосую спутницу. Бутурлину эта ревность казалась забавной, и он подогревал ее еще более, пользуясь своим женским положением и позволяя подчас себе весьма свободное обращение со своей дамой.

Ревнивая ярость Мадлены еще усилилась, когда герцогиня, приехав в Лютих, засыпала ее тысячами вопросов и приказала постелить ей постель в своей комнате, а переодетого Бутурлина, вместе с его черноволосой дамой, поместили в мезонине гостиницы, посреди которого стояла огромная двухспальная кровать.

Почувствовав большой трагизм положения, Бутурлин решил положить свою спутницу спать и, как только она заснет, дать тягу, чтобы утром уже в мужском костюме приехать за Мадленой в качестве посланного от ее матери.

Не успел он написать и десяти строк, как почувствовал, что чья-то рука касается его колен, и, подняв голову, увидел молодого статного юношу с лицом Марион д'Англо в одной рубашке, склоненного у его ног и шепчущего признания в безумной страсти.

Ударом ноги Федор отбросил наглеца так, что тот кубарем покатился под кровать, и уже потом, поняв, в чем дело, дико расхохотался.

Через минуту Бутурлин представился виконту Антуану д'Англо, не менее его пораженному превращением голубоглазой блондинки в русского графа.

Антуан рассказал удивленному Бутурлину, что в свите герцогини, всегда путешествующей только в дамском обществе, следуют сейчас трое мужчин, любовницы которых не пожелали отпустить их от себя и приказали, переодевшись в женское платье, присоединиться к кортежу герцогини.

Еще долго молодые люди рассказывали друг другу свои приключения, пока сон не сомкнул их глаз, в то время как Мадлена слезами ревности орошала подушку в спальне владетельницы Перпеньяка.

Утром Бутурлин увидел опухшие от слез глаза своей подруги и, поняв, что быть грозе, постарался ускорить прощание с герцогиней и повернул свою карету в направлении Лувена.

Целый час Мадлена молчала и сердито смотрела на него, пока он не расхохотался и не рассказал ей, переодеваясь в мужской костюм, перипетии своего ночного романа.

Она долго не верила, топала ногами, и неизвестно, чем бы кончилась эта первая семейная сцена, если бы они, проезжая по ярмарочной площади Тирлемона, не увидели большой балаган с изображенной на его вывеске женщиной-рыбой.

Одна и та же мысль блеснула в сознании обоих, и они на ходу выскочили из кареты.

Глава V

ЖЕНЩИНА-РЫБА

> «Аминь, аминь, рассыпься!» В наши дни гораздо менее бесов и привидений.
>
> *Пушкин*

Жан Тритату, содержатель балагана, расхаживал по высокому помосту и, потрясая колокольцем над головами многочисленной толпы тирлемонских граждан и окрестных поселян, расхваливая чудеса своего предприятия, обещал показать теленка с четырьмя головами, пятнадцать сребреников из тех тридцати, за которые Иуда продал Спасителя, подлинную рукопись послания апостола Павла к коринфянам, пушку, отбитую Агамемноном у троянцев, и, наконец, живую наяду, женщину-рыбу, пойманную антверпенскими рыбаками в день успения святыя богородицы и приобретенную не жалея средств для удовольствия тирлемонской публики.

Бутурлин со своею спутницей довольно грубо протолка-

лись сквозь толпу и одни из первых вошли в балаган, бросив золотой оторопевшему хозяину.

Пробежав глазами горы всякой чепухи, они остановились около огромной кадушки, в которой лежала, изнемогая, женщина-рыба.

Сомнений не могло быть, перед ними в мутной зеленоватой морской воде лежала преображенная в полуживотное, по-прежнему прекрасная, Жерveза.

Мадлена, вся в слезах, перепрыгнула через канат, ограждающий феномен от публики, и заключила подругу в объятия.

На глупом лице женщины-рыбы ничего не выразилось, кроме страха, а Жан Тритату, оповещенный своими окружающими о том, что крадут его главное чудо, с огромной палкой бросился на Мадлену.

Бутурлин сбил его с ног ударом кулака, но через минуту был вынужден обнажить шпагу, отбиваясь от дреколья напавшей на него челяди Тритату.

Отбивая правой рукой удары, он снял левой с цепочки медальона склянку архимандрита трирского Мелхиседека и опорожнил ее содержимое на несчастную женщину-рыбу. Раздался страшный треск, и густые фиолетовые пары наполнили собою балаган. Нимфа, снова став женщиной, узнала Мадлену и бросилась с криком радости в ее объятия.

— Дьявол! Дьявол! — кричал Жан Тритату, и его прислужники, отступая при виде совершенного чуда и крикнув на помощь ярмарочную толпу, снова устремились в атаку на дерзких посетителей.

Однако Бутурлин успел окропить священной водой вокруг себя и двух рыдающих от неожиданного счастья женщин, и красные прыгающие языки пламени встали перед оторопевшей от ужаса толпой.

— Дьявол! Дьявол! — кричал, взвизгивая, Жан Тритату.

Бутурлин вскочил на высокий жернов, которым некогда Яков молол чечевицу для похлебки своему брату Исааку, и, подняв в руке священный сосуд архиепископа трирского, объяснил толпе, что он не дьявол, что действует святой водой во славу господа бога, разрушая козни дьявольские, рассказал все как было и указал в заключение, что если кого и следует считать порождением дьявола, то исключительно Жана Тритату, мучающего в плену души человеческие и недаром обладающего сребрениками Иуды-предателя.

В подтверждение своих слов он тут же исцелил окроплением глухонемую старуху, страдавшую падучей болезнью, и передал опустевший сосуд благочестивого Мелхиседека прибежавшему на шум настоятелю собора, вполне подтвердившему его слова.

Ярость толпы обратилась на балаганщика, все предприятие которого мигом было разнесено в щепы, а сам он еле спасся поспешным бегством.

Пользуясь всеобщей суматохой, Федор втолкнул обеих девушек в карету, и квадрига рослых коней в несколько мгновений вынесла их из города, где почему-то уже стали бить в набат.

К вечеру они были в Брюсселе, и Мадлена, придя в себя от радости первой встречи, к удивлению своему, заметила, что Федор не обращает на нее никакого внимания.

Третья часть

Глава I

ИПОХОНДРИЯ

Печаль моя полна тобою,
Тобою, одной тобой...

А. Пушкин

С грустной и в то же время радостной болью увидел Бутурлин, как открылась перед ним с Поклонной горы первопрестольная столица наша.

С досадой ожидал он конца допросов, которые стражники учинили Афанасию, остановив карету у Дорогомиловской заставы, и с какой-то затаенной, робкой надеждой взглянул на свою спутницу, когда лошади тронулись и застучали подковами по настилке Москворецкого моста.

После утомительного, долгого путешествия Федор доставил Жервезу к подъезду лефортовского дома ее дяди, английского советника в Москве.

Молодая девушка простилась с ним холодно, почти не

глядя на него, и даже не пригласила зайти с нею в дом. Бутурлин низко поклонился ей вслед, долго стоял в оцепенении посреди улицы, держа шляпу в руке. Наконец опомнился и велел Афанасию ехать домой.

С той минуты, когда Мадлена в исступлении ревности швырнула в него канделябром и пыталась, бросившись на Жервезу, выцарапать ей глаза и когда пришлось бросить ее связанной и с заткнутым ртом в комнате брюссельской гостиницы, Бутурлин был в каком-то полузабытьи, и все его существо казалось растворенным в излучаемых Жервезой тайных чарах.

Едучи к себе на Знаменку по колдобинам московских мостовых, он пытался отдать себе отчет в своих чувствах к этой холодной, сохранившей что-то от своего рыбьего бытия женщине... Он не мог назвать это чувство любовью, но в то же время ощущал отчетливо, что она для него единственна и без нее ему не быть.

Толпа не ожидавшей его приезда челяди в боязливом безмолвии встретила молодого барина.

Старый граф не дождался сына и год назад отдал богу душу, сестра еще при его жизни была просватана за молодого Репнина и, выйдя замуж, выделилась и уехала в Северную Пальмиру. Домом правила старая ключница Агафья, Матрешина тетка.

Федор молча вышел из кареты и прошел сквозь пустые, холодные комнаты, с мебелью под чехлами и паутиной по углам.

Дворовые с поспешностью открывали ставни, но свет, проникая сквозь мутные стекла окон, не мог разогнать могильного сумрака и сырости брошенного и, казалось, умершего дома.

Дойдя до круглой столовой, Бутурлин бросил плащ и шляпу на диван и, сев к столу, опустил на руки отяжелевшую голову.

Было холодно, сыро и глухо, глухо. Только изредка из отдаленных комнат доносился по временам гул голосов, очевидно, дворня допрашивала Афанасия о подробностях его странствований.

Прошел час, быть может, и больше.

Скрипнула дверь, и в комнату вошла Матреша в новом сарафане, вся зардевшаяся, несла в руках графинчики с водками и холодный пирог.

Федор посмотрел на нее тупым незамечающим взором и махнул рукой, чтобы уходила.

Девушка поставила поднос на круглый стол, постояла в нерешительности и вдруг убежала со слезами на глазах. А Федор продолжал сидеть в молчании, глядя в одну точку.

На другой день Бутурлин проснулся очень поздно, приказал никого не принимать и начал устраивать свое жилище по-новому.

Он приказал дворне не показываться ему на глаза, отдавал приказания короткими записками, положенными на столе в столовой. Выписал из-за границы сотни книг и эстампов, читал запоем то Вольтера, то творения отцов церкви, не замечая никого и ничего кругом, спал и бодрствовал, не считаясь с солнцем, и вел настолько уединенный и непонятный для других образ жизни, что москвичи поговаривали об опеке.

В таком забытьи прошло несколько месяцев. Федор пресытился книжной мудростью и блуждающим взглядом обводил полки своей библиотеки,— ни одна книга не тянула его более к себе.

Небритый и с воспаленными от бессонных ночей глазами, он бесцельно бродил по пустынным комнатам старого дома, то смотря в глубины запыленных зеркал, то часами просиживая на старом петровском диване, где когда-то, очень давно, он осмелился поцеловать кончик пальца Марфиньке Гагариной... Он вспомнил ее гроденаплевое платье и сурово сдвинувшиеся брови, но не находил в себе сил разузнать что-нибудь об ней или о Жервезе, которая недвижным ледяным сном сковывала по-прежнему его жизнь.

Он оживлялся только тогда, когда заграничная почта привозила ему пакеты, плотно увязанные и запечатанные зеленой печатью.

Частые вначале, они стали поступать все реже и реже. Распечатывая их и раскрывая новый экземпляр «Ars moriendi», присланный ему одним из многочисленных его агентов, он неизменно находил на своем месте и в полной сохранности 39-ю страницу трактата, мельчайшие очертания букв и рисунки которой он знал в совершенстве.

С тоской необычайной, омрачавшей в эти минуты его лицо, он ставил новый томик к двум десяткам других,

полученных им ранее, и, опустившись в кресло, часами снова смотрел перед собою.

Афанасий и Агафья, неустанно смотрящие за барином в замочную скважину, замечали, что Федор все чаще и чаще раскрывал медальон с портретом матери и часами плакал над ним, и, качая головами, долго совещались и решали, что, «пожалуй, пора».

В один из таких вечеров, когда Бутурлин посмотрел перед отходом ко сну на себя в зеркало, с ужасом увидел седые волосы на своих висках, услышал, что сзади него скрипнула дверь... Он обернулся и увидел у притолки Матрешу в одной рубашке, со свечою в руках. Она стояла в нерешительности, вся зардевшись от смущения, рубашка скатилась с ее округлого белого плеча, и чья-то старческая рука ее подталкивала сзади.

Глава II

МОСКОВСКАЯ ПРЕЛЕСТА

> Выложи на блюдо рагу из петушьих гребней и почек, и на оное положи пулярку.
>
> *Поваренная книга*

Бутурлин чувствовал, как он плывет по течению.

Он стал ходить в халате, перестал бриться и отрастил себе бороду.

Матреша ходила по дому барыней.

Окна бутурлинского дома засверкали чисто вымытыми стеклами, весной разбили цветники, а на кухне дым стоял коромыслом и весело поднимался пар от готовящихся блюд.

Федору даже стало казаться, что он очень любит гуся с брусникой.

И хотя он по-прежнему никого не принимал и не показывался в московских гостиных, Москва, узнав о переменах в старом бутурлинском доме, нашла, что все пришло в порядок, и молодой Бутурлин был зачислен не на последнее место среди московских женихов.

Федор сознавал всю глубину своего падения, но с каким-то непонятным упорством и в оцепенении духа все еще ждал записки от Жервезы, все еще надеялся на нее.

Афанасий и Агафья научили Матрешу уговорить его отстроить заново бутурлинскую подмосковную Песты, и он, не выходя из своего полузабытья и не начиная, несмотря на охи своей прелесты, перестройки дома, предался сооружению оранжерей и садов, мечтая превзойти Горенки своими теплицами и перешибить Прокопия Демидова роскошью своих флорариумов.

В Пестах землемеры ходили с астролябией и размеряли будущие «амфитеатральные террасы», герр Клете, паркового и фейерверкского дела мастер, выписанный из Карлсруэ, опохмелялся каждое утро старыми графскими наливками, которыми потчевала его Агафья, и Афанасий с угнетением и трепетом душевным советовался со стряпчими о закладных на рязанские деревни.

Все, казалось, пришло в некое равновесие, однако каким-то внутренним чутьем Федор чувствовал приближение нового удара, долженствующего развеять карточный домик его жизни, и удар этот действительно не замедлил разразиться.

В одно сентябрьское утро он почувствовал, что Матрешино плечо ушло из-под его головы, и, проснувшись, увидел ее закутанную в одеяло и смотрящую через окно на двор, наполненный звоном колокольцев и фырканием лошадей.

Федор еще не успел сообразить, что бы это могло быть, как услышал на дворе бойкую французскую речь. Через минуту он уже не мог сомневаться, что к нему приехала Мадлена.

Накинув халат, он стремительно бросился в свой кабинет и заперся там на два поворота ключа, с тревогой прислушиваясь к разыгрывающемуся домашнему переполоху.

Он слышал возгласы дворовых, исступленные вопли Агафьи, визг Матреши и, наконец, раздраженный голос Мадлены, приказывающей ему отворить двери кабинета.

Однако у него хватило пассивной решимости не откликнуться на этот зов и целый день просидеть взаперти, чувствуя, как постепенно Мадлена овладевает его домом и как по Москве, судя по разговорам прохожих под его окнами, ползут слухи, что madame Boutourline est venue[1].

Сначала Федор надеялся на чудо, почему-то верил, что

[1] мадам Бутурлина прибыла *(франц.)*.

именно теперь ему принесут письмо от Жервезы, но к вечеру, когда стемнело, он понял, что исхода нет.

Вынул из своей дорожной шкатулки пистолет, зарядил его дрожащими руками и, поцеловав в последний раз портрет матери, взводя курок, приставил дуло к виску, опустил, подержал дуло во рту, и в тот момент, когда предсмертная нерешительность овладела им, пред его сознанием открылась новая возможность, и он принял отчаянное решение.

С трудом необычайным выбрался незамеченным из дома и направился в Лефортово попытать счастья у графа Якова Вилимовича Брюса.

Глава III

В ЛЕФОРТОВЕ

Доколь, драконов сея зубы,
ты будешь новых змей рождать.

Державин

Внезапно выбившись из сил и обегавши все Лефортово, Бутурлин остановился и почувствовал, что стоит перед нужным ему домом.

Высокие окна огромного фасада были освещены совсем как три года назад в достопамятную для него сентябрьскую ночь.

Бутурлин взбежал по мокрым каменным ступеням и начал стучать в тяжелую дубовую дверь Брюсова дома.

Внезапно его руки провалились в пустоту, и створка двери широко распахнулась перед ним, с глухим стоном и как будто без помощи человеческих рук.

Федор содрогнулся, но, поборов в себе минутную нерешительность, вошел вовнутрь дома.

Комнаты были пусты и темны. Сквозь их призрачную анфиладу как-то преувеличенно ярко сверкали щели внизу под дверью графского кабинета, а когда Бутурлин приблизился, незримый порыв ветра распахнул ее настежь, чуть не ударив Федора створками.

Ослепленный потоками яркого света, Федор увидел графа Якова Вилимовича.

За огромным, покрытым зеленым сукном столом, ярко освещенным двумя мерцающими двенадцатисвечными канделябрами и заваленным десятками карточных колод, старик, как и три года назад, сидел в мундире петровских времен, увешанный звездами и орденами, с зеленым зонтиком на глазах, защищающим старческое зрение от нестерпимо яркого мигания свеч.

— Не осуди старика, голубчик Федор Михайлович, за плохой прием... отпустил я сегодня своих покойников на Ваганьково в могилках отдохнуть... Легко ли мертвому человеку здесь денно и нощно кости свои гнуть...

Как сквозь сон слышались откуда-то издалека слова Брюсова голоса, и сейчас же под самым правым его ухом, совсем близко, тот же голос продолжал:

— Ну, как тебе, почтеннейший, нравится твой новый пасьянсик?! Постарался я для тебя, милейший, постарался!

И старческий хохот, переходящий в кашель, потряс все закоулки молчаливого дома.

Брюс тыкал своим безгранично удлинившимся пальцем в разложенные по столу карты, и Федору не было большого труда узнать в их сплетении весь ужас только что пережитых событий своей жизни и новые, еще неизведанные им грядущие ненастья.

Червонные десятки, перемешанные с пиковыми шестерками и девятками, перекрывали собой вереницу дам красных и пиковой мастей и, как бахромой, кончались несколькими пиковыми тузами, с давящей силой обращенными вниз своим острием.

Не узнавая своего голоса, бессвязно начал Бутурлин умолять своего страшного собеседника сжалиться над ним, разрушить круг заклятия и отдать ему Жервезу.

Старик хохотал, откинувшись на спинку кресла, и тыкал пальцем в даму бубен, окруженную со всех сторон трефовыми фигурами.

Кашель и хохот обжигали сознание Бутурлина, какие-то красные пятна поплыли пред его глазами, и он в исступлении рассудка перегнулся через стол и хотел перемешать дьявольские смешения терзающих его душу карт.

Но карты, несмотря на все его усилия, на этот раз не сдвинулись со своих мест и лежали недвижно, как нарисованные на поверхности стола. Федорова же рука прилипла к бубновой девятке и сразу онемела.

Дикий хохот потрясал собою весь дом.

Вне себя от ярости, Бутурлин со всего размаха ударил свободной рукой захлебывающуюся от смеха старческую физиономию, и его кулак разбился в кровь, будто ударил он не по человеческому лицу, а по чугунному пушечному ядру.

В тот же миг прямо перед своим носом увидел он трясущиеся костлявые пальцы графа Брюса.

Федор отскочил от стола, но старческая рука вытянулась беспредельно и пыталась поймать его за нос.

Прижавшись к противоположной стене, Бутурлин забился в угол, опустился на колени и закрыл свое лицо руками. Но все было тщетно. Протянувшись через всю комнату, страшные руки схватили его за шею, скользнули могильным холодом по его подбородку и, впившись костлявыми, твердыми, как железо, пальцами в его нос, повлекли его к столу.

«Это тебе не Матрешкины объятия, ваше сиятельство!» — зазвенело в ушах Бутурлина.

Через полчаса измученный, поруганный Бутурлин, которому казалось, что он стоит на краю безумия, купил свою свободу и год любви Жервезы ценою *добровольной* уступки Брюсу обрывка страницы «Ars moriendi», найденной в руках его умершей матери, причем Брюс наотрез отказался сообщить ему значение этой страницы и каждый раз, как он упорствовал, нагибал его голову к каменному полу и бил его виском о камень до потери сознания.

Дрожащими руками Федор вынул из ладанки драгоценный кусок бумаги и передал его Брюсу.

Генерал-аншеф освободил от своих пальцев его полураздавленный и онемевший нос и взял из выдвинутого ящика стола старую книгу в переплете свиной кожи.

Федору не стоило труда узнать в ней знакомую внешность «Ars moriendi», и он увидел наконец давно жданную им, наполовину разорванную 39-ю страницу трактата с латинскими письменами на ней.

Брюс приложил недостающий кусок, с довольным видом и напряженным вниманием прочел получившуюся подпись и, подняв глаза на Бутурлина, захлопнул книгу.

В тот же миг и книга и сам Брюс разлетелись, как фейерверочный бурак, тысячами игральных карт во все стороны, охвативши Федора со всех сторон.

А когда карточный вихрь рассеялся, Бутурлин увидел себя стоящим посреди Ехалова моста, что в Лефортове.

Глава IV

БРЮСОВЫ ПАСЬЯНСЫ

> Некто в один день, проиграв в банк все свое имение, напоследок отыгрался на шестерку.
>
> *Н. Страхов*

Ночная холодная пустота московских улиц постепенно овладевала сознанием Бутурлина.

Он долго шел, машинально передвигая ноги, не думая, не замечая ничего, кроме звука своих шагов, и только у Красных ворот остановился, дрожа с ног до головы, чувствуя, как ночная сырость проникает в его душу.

Казалось, впервые понял все происшедшее, и жуткая тревога наполнила все его существо.

Был готов бежать снова к Брюсову дому и требовать назад отданную страницу.

На миг забыл даже о Жервезе и событиях своей жизни. Потом вспомнил, и все, только что бывшее, показалось ему сном.

Не пошел даже, а побежал к себе на Знаменку, чтобы убедиться в реальности происходящего.

Ужасная значительность ночной Москвы потрясала его. Каждый встречный казался ему мертвецом, пробирающимся с Ваганькова в услужение к Якову Брюсу, ему казалось даже, что вместо глаз видит он провалы черепа и слышит под плащом лязг костей.

Он содрогался, встречая в темноте бешено несущуюся карету, внезапно выбрасываемую ночным туманом и вновь поглощаемую им.

Как вор, влез он через окно в буфетную своего собственного дома и стал пробираться к себе в кабинет, боясь, чтобы не скрипнула половица и не подняла бы на ноги дворню. Осторожно открыл дверь и остолбенел: на его письменном столе стояла бутылка шампанского, отражающая мерцающий свет восковых свечей, а на диване он увидел Мадлену, радостно взволнованную, с поднятыми бровями, совсем такую, какую любил он некогда в городе Аахене... У ее ног, припав поцелуем к ее руке, заметил он младшего

Регенсбурга, неизвестно как и почему попавшего в бутурлинский дом.

Федор дико расхохотался и, с шумом захлопнув дверь, бросился к выходу.

Он даже не удивился, когда, пробегая по коридору, он услышал немецкие любовные сентенции фон Клете, прерываемые жеманными охами Матреши.

Почти на рассвете он добежал до памятного ему сада господина Джона Гамильтона, английского советника в Москве. Не успел он перепрыгнуть через каменную ограду, как с балкона ему навстречу метнулась женская тень.

Федор не удивился этой встрече и в тот же миг забыл и Брюсовы карты, и тирлемонские события, и ему казалось, что он никогда и не жил до этой минуты.

Жервеза и Бутурлин долго гуляли, преисполненные радостью, в предрассветном московском тумане.

Солнечный восход застал их у Спаса Андроньева монастыря. Смотря на озаренную утренними лучами Москву, раскрывшуюся им в туманной дымке по излучине реки, чувствуя прижавшуюся к нему Жервезу, Федор всем существом своим приветствовал зарю новой жизни и, вдохнув полной грудью утренний воздух, торжественно протянул свою руку к восходящему светилу... и в тот же миг солнце померкло в его глазах. Он вспомнил, что Брюс согласился переместить карты своего пасьянса только на один год.

Глава V

КАТАСТРОФА

> Настал ужасный день, и солнце на восходе.
>
> *М. Ломоносов*

Жервеза в православии приняла имя Глафиры, а венчавший молодых Бутурлиных батюшка отец Афанасий от Семена Столпника сделался ее духовником и глубоко вошел в жизнь бутурлинского домика, что на Знаменке.

Старый дом стал неузнаваем: вместе со сваленными на чердак елисаветинскими диванами и домодельными коврами исчезла его степенная серьезность и мрачная пустота.

Молодая хозяйка разорвала цепи затворничества, и толпа нескончаемых маскарадов и балов, колеблющаяся в мерцании восковых свечей, наполнила собою комнаты, в которых еще так недавно граф Михайло Бутурлин, сидя в старом своем генерал-аншефском мундире на просиженном роберквисте, принимал от приказчиков своих волостей, согласно реестрам, зерно и кожи и обсуждал размеры оброков рязанских деревень.

Под сводами, помнившими трагические события царствования второго Петра, спорили до одурения о талантах Сандуновой и Ожегина и о новых замыслах Медокса, пели куплеты из «Кусковского перевозчика», обсуждали прогулки и фейерверки и восторгались талантом Бомарше.

Федор стремился быть корифеем в радостном круговороте лиц и происшествий, окружавших его жену, и только когда последняя карета увозила от его подъезда запоздалых гостей и Жерве̇за, едва успев раздеться, засыпала мертвым счастливым сном, он пробирался в свой кабинет и, смотря на переплеты тридцати томов «Ars moriendi», часами просиживал недвижно в ночной тишине, томительно, безысходно думая о путях своей жизни.

Мысль, омрачившая первое утро его новой жизни, постепенно отравляла душу и подтачивала его бытие.

Он знал, что есть сроки пламенному счастью их жизни и с каждым часом близится какой-то удар, неизвестный, но тем более ужасный, но и эти драгоценные, убегающие в Лету часы были отравлены для него сознанием их карточного происхождения.

Когда Жервеза, с ногами забравшись к нему на колени, разглаживала пальцами морщины его лба и бурно выражала свое удивление тому, как могла она раньше его не любить, перед глазами Федора вырастала дама бубен, положенная перед ним на зеленое сукно костлявыми Брюсовыми пальцами, и ему хотелось плакать от досады и внутренней пустоты.

Бутурлин только сейчас понял, что, продав наследие матери за год краденого счастья, он обрек себя сам на утонченную пытку.

С течением времени он стал набожным и месяца за два до рокового срока открылся во всем отцу Алексею.

Меж тем московская жизнь кипела вокруг него в незамедляемом беге своем. Улыбаясь друзьям и недругам раз

навсегда сложенной маской своего лица, Федор внимал безучастно рассказам о том, как Кирилл Разумовский в шлафроке и ночном колпаке принимал Потемкина, об успехах «Синава и Трувора» и шепоту о княжне Таракановой, спасенной от рук Орлова и заточенной в тиши московского монастыря.

Восковая маска его лица спадала только тогда, когда перед киотом образов беседовал он с отцом Алексеем о едином для него значительном, наполнявшем его душу трепетом.

Тщедушный иерей ожесточался и, листая страницы Четьи-Миней, повествовал о кознях сатанинских, искушавших землю, и о подвиге духовном их уничтожения.

Федор отчетливо помнил и Спасов лик, озаренный лампадой, и низкую, пропахшую елеем, комнату священника, в которой принял он свое решение.

Помнил и ту минуту, как отец Алексей окропил святой водой лезвие топора и с горящими глазами передал сей «молот духовный» в его руки.

На этот раз Бутурлин не стал стучать у подъезда брюсовского дома, а выдавил осторожно стекло в одной из темных комнат и внезапно вошел в кабинет Якова Вилимовича из внутренних апартаментов.

Старик согнулся над столом и с исступленным выражением лица рассматривал карты разложенного пасьянса. Федор видел, как он грозил кому-то кулаком и резким движением перекладывал то одну, то другую карту с места на место.

Ужас охватил Бутурлина, ибо он понимал, что под этими костлявыми пальцами сейчас ломаются человеческие жизни, гибнут надежды, зарождаются преступления.

Старик, хихикая, продолжал свое адское занятие и был так увлечен им, что не слыхал даже, как Федор подошел к нему почти вплотную, и обернулся только тогда, когда Бутурлин стоял рядом с ним.

Федор видел, как из-под зеленого зонтика на него в ужасе метнулся серый свинцовый взгляд, и в то же мгновение ударил старика обухом освященного топора по голове.

Послышался треск, похожий на звук лопнувшего бычачьего пузыря, и Бутурлин в ужасе отступил, роняя топор.

На его глазах старик лопнул и рассыпался, как рассыпается старый дождевой гриб, клубом пыли заполнив комнату.

Совершив содеянное, Федор долго стоял в оцепенении и только несколько мгновений спустя поборол охвативший его ужас и стал смотреть разложенные по столу карты, покрывшиеся хлопьями Брюсова праха, ища глазами и желая убедиться, что его бубновая дама лежит так, как была положена год назад, и что ничья рука не оторвала ее от Федоровой карты.

Среди пестрых узоров причудливых карточных сплетений он нашел наконец кусок адова пасьянса, управлявшего его жизнью, и вдруг заметил, что карты стали коробиться и тлеть... Среди разбросанных карт зардели огненные пятна, и струйки дыма стали подниматься с разных сторон стола.

И в тот же миг услышал он за окном первые тревожные звуки набата.

Оглянулся и сквозь черные ветви Брюсова сада увидел зарево начинающегося пожара.

Забыв о картах, пустился бежать, и пока бежал, набатные звуки росли и диким ревом меди вздымались вместе с клубами огненного дыма. Толпы людей выбегали из домов и, крестясь, бежали к пожарищу, охватившему Белый город.

Когда Федор добежал до места, огонь охватил всю Знаменку, уже перебрался на Воздвиженку и грозил Кисловским переулкам. Бутурлин остановился, и ноги его подкосились — старый бутурлинский дом горел как костер.

Глава VI

ЭПИЛОГ

> Среди стен его погребено мое счастье, жизнь моей жизни.
>
> *Н. Страхов*

Целую ночь и весь день Бутурлин ходил по пожарищу. От своих соседей узнал, что его старый дом загорелся первым, сразу в разных местах, каким-то особенным красным пламенем, и, несмотря на то, что все окна и двери его были открыты, никто не вышел из пылающего дома, как будто бы и самый дом не был обитаем.

С опаленными бровями и лицом, растрескавшимся от жара, Федор пробирался среди еще не остывших головешек, тщетно ища найти останки Жервезы.

Толпы москвичей стояли в молчании поодаль, и никто не решался подойти к потрясенному до пределов вдовцу, стоящему на пепелище своего дома.

Бутурлин стоял недвижно, что-то соображая, стремясь что-то уловить своим помутневшим сознанием.

Внезапно почувствовал, что его левая рука сжимает толстый том «Ars moriendi», похищенный им из Брюсова дома и автоматически носимый целые сутки. Федор взял его в обе руки, раскрыл на роковой странице, но сколько ни силился, не мог понять даже слов, написанных на ней дрожащим латинским почерком.

Захлопнул книгу и бросил ее в груду тлеющих бревен.

Старинный пергаментный переплет начал тлеть, и страницы нюрнбергских печатников долго коробились, не загораясь, потом вспыхнули каким-то зеленоватым пламенем.

Федор безумными глазами смотрел, как огонь поглощал страницу за страницей книгу, пока чья-то рука не опустилась на его плечо: князь Михайло Андреевич Голицын вывел его из пожарища.

Юлия, или Встречи под Новодевичьим

Романтическая повесть,
написанная московским ботаником X.
и иллюстрированная Алексеем Кравченко

Ольге — спутнице дней моих
посвящаю эту книгу

12 апреля 1827 года

Бесспорно, господин Менго должен почитаться одним из чудес современного мира!.. С тех пор как он появился на поприще биллиарда, все законы Эвклида и Архимеда рассеялись, как дым.

Ударенный шар вместо абриколе бежит по кривой; шар, на вид едва тронутый, касается борта, отлетает от него с неожиданной силой и делает круазе от трех бортов в угол.

И только представить себе, что разгадкой сему необычайному волшебству — всего-навсего незначительный кусочек кожи, прикрепленный к кончику кия, усовершенствованного господином Менго.

Отныне для совершенного игрока нет более невозможной билии. Одухотворенные шары...

Впрочем, я должен рассказать все по порядку...

Как только стало известно, что господин Менго, или, как он пишется по-французски — Mingaud, уже приехал из Варшавы и остановился в померах Шевалдышева, все почитатели его таланта собрались в биллиардных залах Купеческого собрания... Наш ментор и ценитель Роман Алексеевич Бакастов, маркер сего почтенного клуба и достойный преемник непобедимого Фриппона, уверял в возбуждении, что французу против Протыкина не вытянуть. Молодежь, наскучивши ожиданием, сбилась в углу диванной, где конногвардеец Левашев, только что вернувшийся из Санктпетербурга,

утверждал превосходство Вальберховой над московскими артистками, чем заставлял багроветь шею майора Абубаева...

А сам герой дня, мой приятель Протыкин, красный от волнения, делал шар за шаром, разминая мастерскую руку.

Менго заставил себя ждать изрядно. Когда терпенье наше было на исходе, он появился в сопровождении старшин и в напыщенных словах, любезных до приторности, сообщил, что за дорожной усталостью играть сегодня не в состоянии и просит разрешения быть на сегодняшний вечер простым наблюдателем московской игры, знаменитой на его родине еще с 1813 года и si presieux, si delicieux[1].

Ропот возмущения был ему ответом.

Несколько горячих голов, столь же мало учтивых, как и мало взрослых, требовали, чтобы маэстро, столь осторожный в отношении своей славы, просто без игры показал хотя бы один из своих столь прославленных ударов.

Надо думать, что я, разгоряченный долгим ожиданием, выделялся своим чрезмерным волнением среди негодующей толпы, потому что господин Менго именно ко мне обратился, прося меня сделать ему одолжение и разбить первым шаром белевшую на биллиардной зелени пирамиду, заботливо поставленную Бакастовым.

Вся кровь прилила у меня к голове и дрожали руки от неожиданности той роли, которая была на меня возложена. Пятнадцать шаров двоились в моих глазах. И хотя я и хотел из любезности расшибить пирамиду вдребезги — рука дрогнула, едва не вышел у меня кикс. Желтый ударился в правый угол и отбил только три шара.

«Parfaitement![2]» — сказал Менго, взял кий, и разом все стихло кругом.

Мне было досадно за свою неловкость, и я к тому же почему-то обозлился на наглый тон француза. Однако вместе с другими впился глазами в кончик его кия.

В гробовой тишине послышался сильный, четкий и необычайно низкий удар. Шар стремительно рванулся вперед и... пролетел мимо подставленного мною на простой дублет седьмого номера.

---

[1] такой захватывающей, такой великолепной *(франц.)*.

[2] «Прекрасно!» *(франц.)*

Цицианов даже свистнул от неожиданности. Еще момент — и, казалось, менговский биток пойдет писать гусара. Как вдруг, промазавший биток, не доходя двух четвертей до борта, сам по себе останавливается посеред поля, стремительно возвращается назад, четко берет от борта крепко приклеенный шар, делает контр-ку, посылает пятый номер в лузу, а сам вдребезги разносит не добитую мною пирамиду.

Рев восхищения был наградою гению биллиарда.

Менго, побледневший от напряжения, как будто бы даже не заметил, что был столь необычно аплодирован, и продолжал делать билию за билией, делая невозможное — возможным, трудное — игрушкой и каждым ударом посылая ко всем чертям все законы математики.

На наших глазах он кладет подряд 15 шаров и в изнеможении падает на кресло.

Мы неистовствуем, а когда успокаиваемся, то ищем свою надежду, своего героя, своего игрока Протыкина, но не находим его.

Его не оказывается также и в соседних залах.

Смущенный Бакастов рассказывает, что после первой же билии француза Протыкин сломал в досаде надвое свой кий и выпрыгнул в окно.

Бросились искать и ободрить его. Обшарили все московские улицы и подходящие места, но тщетно.

Бывают же такие люди, такие колоссы, как Менго!

13 апреля 1827 года

Спешу записать странное событие сегодняшней ночи. Вернувшись домой из Купеческого собрания, я был в страшном волнении, сон бежал от меня, и я писал при догорающих свечах свой дневник, покуда они не погасли.

В голове раздавалось щелканье шаров, и стоило мне закрыть глаза, как проклятые эти менговские шары начинали бегать передо мной.

Проснулся я на рассвете от страшного стука в окно. На фоне красной полосы занимавшейся зари, сквозь запотелые стекла виден был человек, который, наклонившись к окошку, неистово стучал кулаком по раме.

Я вскочил и подбежал к окну.

Это был — Протыкин.

«Ну, брат, и история! — сказал он, влезая в отворенное мною окно. — Мадера у тебя есть?»

Всклокоченный, с подбитым глазом, с воспаленными от бессонной ночи зрачками, он забился в угол дивана и, выпуская клубы дыма, начал описывать свои похождения.

Из его бессвязных и отрывочных фраз можно было понять, что, придя в отчаяние от первой же билии Менго и предчувствуя полный разгром своей биллиардной славы, Протыкин сломал в отчаянии свой кий, выскочил с подоконника, на котором он стоял, наблюдая игру Менго, в тишину клубного сада и в горести решил напиться как стелька.

Однако в первом же кабаке его взяла такая грусть, что неудержимо потянуло к цыганкам, и он начал искать, не поет ли где Стешка. Однако рок преследовал его и на путях искусства... Степанида с дочерью уехали петь в Свиблово к Кожевникову и увезли с собою чуть ли не все московские таборы. Осталась одна надежда на последнее убежище всех допившихся до белых слонов гусаров — Маньку-пистон, которая, как рассказывали у нас, года два назад своей разухабистой песней «Разлюбил, так наплевать, у меня в запасе пять» произвела землетрясение на Ваганькове, так как все похороненные там гусары не выдержали и пустились в пляс в своих полусгнивших гробах.

Манька жила где-то в Садовниках. Протыкин уже прошел через Устьинский мост и приближался к старому комиссариату, как вдруг остановился потрясенный.

У самого берега Москвы-реки в круге тусклого света уличного фонаря стояла девушка.

Несмотря на холодную ночную пору, она была в одном платье с открытыми плечами и руками.

В мигающем на ветру свете фонаря Протыкин успел разглядеть только огромные глаза, пепельно-серые волосы, взбитые в несколько старомодную прическу, и сверкающее ожерелье.

Было непостижимо, что она могла делать здесь, в такой час, одна и в таком костюме.

Мгновение они стояли друг перед другом в молчании... Затем девушка протянула ему руку.

Протыкин почувствовал холодное прикосновение тонких пальцев к своей руке, и в тот же миг сильный удар по лицу сбил его с ног вниз, в Москву-реку, и в воздухе зазвенела отвратительная ругань...

Когда Протыкин взобрался наверх, на набережную, девушки не было, и где-то далеко между фонарями бежала, сгорбившись, человеческая фигура...

13 апреля, вечером

День вышел незадачный. Едва успел уйти взволнованный Протыкин и я наскоро записал его ночное похождение, как на двор со звоном влетела вся покрытая грязью данковская вороная тройка, и батюшкин конюший Емельян ввалился ко мне в комнату с батюшкиным письмом в руках.

Письмо наполнило меня грустными воспоминаниями. Батюшка подробно описывал мне гибель гнедого Артаксеркса, который оступился на гололедице и сломал себе ногу... Несчастного пришлось пристрелить.

Несчастный Артаксеркс! Как приятно бывало, вернувшись весною из душных стен Благородного пансиона к данковским пенатам, вскочить на твою широкую спину и скакать через старые гумна к Елоховскому пруду на водопой.

Могу ли я когда-нибудь забыть маленькую ножку Наташи Храповицкой, ласкавшую твои крутые бока, о Артаксеркс, в памятную поездку на Яблонку... Увы, увы, давно ли это было, а сколько воды утекло с этого памятного дня, и помнит ли теперь графиня Маврос наши детские клятвы. Увы, увы...

Батюшка писал, что для весенних полевых разъездов ему необходимо в ближайшие же дни под верх новую лошадь, могущую столь же легко носить его дородную фигуру, как это делал покойный Артаксеркс. А потому просил купить, не медля, по сходной цене крепкого жеребца, не ниже трех вершков.

Вместе с Емельяном обрыскали мы сегодня все московские конюшни, побывали у всех знаменитых содержателей — англичан и русских... Видели у Банка Доппля от Ковентри и Тритона, а у Джаксона вывели нам самого Тромпетера от Трумпатера. Не лошадь — огонь, рыжий с флагами, но жидковат для батюшки.

Пришлось побывать и на частных конюшнях у Закревского, Давидова и Панчуладзева. Больше всех понравился мне Панчуладзиев жеребец Замир. Бурый в масле, большого роста, широкий, ноги плотные, шея лебяжья с зарезом, го-

лова небольшая, уши вострые, глаза навыкате, и оскал такой, что в ноздрю хоть кулак суй; хвост и грива хотя и жестковаты, но в остальном не уступят и самому Тромпетеру. Дороговат, да зато для батюшки лучше и не выдумаешь.

Оставил Емельяна торговаться и кинулся в Купеческое собрание любоваться подвигами Менго. Еще по дороге от скачущего во всю прыть на наемном колибере Тюфякина, нашего первого нувелиста, узнал я о совершенном его триумфе.

Клубские залы были переполнены до невозможности. Среди посетителей мог я отметить немало и биллиардных игроков Английского клуба.

Менго не только делал все билии, но, играя в черед, всегда офрировал партнеру такие шары, что они либо были накрепко приклеены, либо стояли в труднейшем абриколе.

Когда я протиснулся в биллиардную залу, то француз, не зная, чем еще выразить свое превосходство, заявлял с удара два шара и делал их как простые угольники. Преимущество было настолько велико, что игры, собственно, не было, и даже было неинтересно.

Бакастов попробовал было играть в пять шаров на сплошных киксах, но на третьем же шаре бросил игру.

Протыкина не было, но его похождение было уже известно всем и сверх моего ожидания не вызвало большого удивления, так как за последний месяц Корсаков и Ребиндер хотя и не получали в рыло, но сталкивались с блуждающей дамой.

Все терялись только в догадках, кто она могла быть. Невест, как известно, в Москву из степных деревень привозят одновременно с поросятами — к рождеству, а по платью и общему теню она не могла быть мещанкой.

Бакастов, мрачный и раздосадованный проигрышем, крушением всех своих теорий и в еще большей степени распространившейся сплетней, будто его лучший ученик Протыкин еще поутру поступил в обучение к господину Менго,— чертыхался и объяснял все дьявольскими происками фармазонов.

Сообразно случаю рассказал он нам про те обстоятельства, при которых дал он зарок более не играть в кегли. Рассказ Бакастова вышел столь достопамятным, что я почитаю за должное записать оный в свою тетрадь.

По его словам, еще будучи мальчиком, служил он у Мельхиора Гроти в вокзале при кегельбане на предмет подавания шаров. В те дни в Москве подвизались иллюминаты и среди них некий барон Шредер.

Случилось быть проездом через Москву гишпанскому полковнику Клепиканусу, большому любителю кегельной игры. В недобрый час побился он со Шредером на крупный заклад против его, барона Шредера, пенковой трубки, что обыграет его в два счета. Начали играть. Клепиканус с первых же четырех шаров разбивает всю девятку.

«Поставил это я заново кегли для барона,— рассказывал, размахивая руками, Бакастов,— а тот, поди, и шаров-то в руки никогда не брал. Первым шаром промазал, вторым — мимо, третьим — тоже не лучше... Ну, думаю, не видать тебе твоей пенковой трубки. Только гляжу это я — барон-то наш как схватится за голову да вместо четвертого шара своею собственной бароньей головой по кеглям как трахнет... Только тарарам пошел. Вся девятка влежку. А из воротничка-то у него дым идет. Подбежал это я к кегельбану за кеглями, гляжу, господи боже ты мой, святая владычица троеручица,— вместо кеглей-то человечьи руки да ноги, а голова-то вовсе не Шредерова, а Клепикануса. Оглянулся. Барон Шредер стоит себе целехонек и пенковую трубку курит, Клепикануса вовсе нет, а гости все от ужаса окарачь ползают».

Рассказ недурен, только надо думать, что Бакастов заливает.

22 апреля 1827

Весь день сегодня опять погубил я на лошадей. Панчуладзев меньше чем за тысячу не отдавал.

Целое утро искал другую лошадь. Даже до цыган доходил. Наконец умолил Петра Григорьевича уступить Замира за восемьсот.

Вечером был на обеде у Долгорукова Юрья Владимировича, прежде бывшего главнокомандующего московского. Хотя многие и говорят, что прежние годы состоял он в фармазонах, тем не менее старик всегда приветлив, и мрачности в нем я никогда не замечал.

Обед был на 80 кувертов, и я никогда не видывал такого стечения, как сегодня. Мог я отметить Петра Хрисанфовича

Обольянинова, нашего предводителя, Александра Александровича Писарева, попечителя Московского университета, Степана Степановича Апраксина, нашего мецената и покровителя московской Талии, а в конце обеда подъехал сам граф Федор Васильевич.

Что бы ни говорили наши зоилы, должен признать, что общение со столь знатными особами возвышает и облагораживает.

Говорили о разном, а больше всего о завтрашнем спектакле «Павильон Армиды», и Шаховской хвастал, что Гюлен-Сорша должна на этот раз превзойти самое себя, особливо в pas de deux с Ришардом-младшим.

Протыкинское приключение всех рассмешило изрядно, и острословцы интересовались, какое количество шкаликов довело моего приятеля до замоскворецкой сильфиды; Измаилов даже сочинил экспромт, намекающий, что не только дамы, но и кулака не было, а просто пьяный Протыкин стукнулся лбом о фонарный столб.

Жалко, что не успел я записать эти острые слова.

25 апреля 1827 года

Я задыхаюсь. Я не могу перевести дух. К черту Измаилова, к черту наших скептиков.

Я не брал в рот ни единой капли вина, и я видел ее. Это она, бесспорно она — протыкинская незнакомка!

Было уже близко к полуночи, когда вышел я из Петровского театра, потрясенный воздушными па Гюлен-Сор, которая была аплодирована как никогда.

Мне не хотелось идти домой, и я, желая преобороть свое волнение, пошел бродить по улицам. Была лунная ночь. Редкие облака, гонимые ветром, бежали тенями по московским домикам и заборам.

Не успел я дойти до Каменного моста, как увидел в лунном сиянии медленно идущую девушку. Она была в одном платье с открытыми плечами и руками. В мигающем на ветру свете фонаря я мог разглядеть только огромные глаза, пепельно-серые волосы, взбитые в несколько старомодную прическу, и сверкающее ожерелье.

Я сделал несколько шагов в направлении к ней и тотчас заметил сутулую фигуру, ковылявшую в отдалении. Вспомнив печальный опыт Протыкина, я понял, что всякая по-

пытка приближения кончится для меня дракой, и остановился. Между тем девушка заметила меня и также остановилась, протянула мне руки и, как бы призывая на помощь, махала мне платком. Вся кровь прилила у меня к голове, я смерил глазами уже приблизившегося карлика, угрожающе размахивавшего кулаками, и бросился между ними. Увернувшись от предназначенного мне удара, я изо всей силы саданул своего противника в перекосившееся от злобы лицо, но кулак мой... пронзил пустоту, и я растянулся на мостовой.

Карлик захохотал и исчез в темноте, оставив в моих руках драгоценный платок, оброненный незнакомкой. Девушки не было. Пробегав более часа по всем перекресткам — я остановился. Сердце мое билось. Я прижал к груди драгоценный платок и, простояв несколько минут в порывах все более и более крепнувшего ветра, поплелся домой.

Плотно затворил двери и окна своей комнаты. Выкинул всякую чепуху из бабушкиной шкатулки и положил туда данный мне небом залог любви. Забился в уголок дивана и стал курить трубку за трубкой, обдумывая план действий.

Нет мыслей в моей душе, нет дум, и только образ, любезнейший, нежнейший образ витает в моем сердце. Смотрят сквозь стены огромные серые глаза, и пряди пепельных волос стелются по ветру.

. . . .

Ужас наполняет душу мою, ум теряется, и голова начинает кружиться... Сейчас, желая посмотреть при свете восходящего солнца завоеванный трофей, подошел к окну, открыл бабушкину шкатулку и в ужасе содрогнулся. Она была пуста, и из ее глубины поднялся какой-то смрад, напомнивший мне по запаху табачный дым английского кнастера. У меня выступил холодный пот, и почему-то вспомнился мне рассказ Бакастова о чертовом кегельбане.

Что же мне делать?

8 мая 1827 года

Более двух недель не раскрывал я своего дневника, да и нечего было писать. Одна досада...

Друзья принимают меня за сумасшедшего, и только Протыкин, приободрившийся после уроков, взятых им у гос-

подина Менго, и восстановивший свою биллиардную славу,— дружески в знак понимания пожимает мне руку.

Моя охота за незнакомкой тщетна. Я сбил двое ботинок, граня московские улицы... Увы,— без успеха. Я бы давно бросил свои безумства, но клянусь головой Бахуса, что дважды видел ее.

Однажды перед поездкой в Башиловский вокзал я сидел с Ребиндером и Костей Тизенгаузеном в кондитерской Педотти на Кузнецком и бешено спорил о преимуществе голоса Синецкой над прославленным голосом петербургской Колосовой... как вдруг остановился на полуслове... На противоположном тротуаре шла моя незнакомка. Я опрокинул стол и бросился к выходу... Улица была пуста.

Другой раз я гнался за нею по Полянке. Она заметила меня, обернулась, протянула ко мне умоляюще обе руки и вдруг пропала.

Странно было только, что пропасть-то ей было некуда. И справа и слева тянулись заборы замоскворецких садов, и сколько я ни обшаривал их, нигде не было видно никакой калитки.

Смущало меня также и то, что в этот раз она была как бы значительно выше ростом, чем в первые две наши встречи.

Но это была она, бесспорно она. Те же пепельные локоны волос, те же огромные серые глаза, то же сверкающее ожерелье.

Теперь вот уже более недели я не видал ее. С грустью таскаюсь днем по всем московским кабакам и кофейням и, к ужасу своему, пристрастился к курению табака.

Целые ночи напролет страдаю бессонницей, читаю и немилосердно курю трубку за трубкой.

Начал даже понимать тонкости табачного вкуса. Поначалу забирал я арабские и турецкие табаки у греков на Никольской, все больше у Кордия, но, втянувшись, нахожу их жидкими. Купив как-то у мадам Демонси английского, с медом сваренного кнастера, перешел я к табакам американским и наипаче голландским, которые постоянно и лучшего достоинства в старой Ниренбергской лавке у Пирлинга, состоящей на Ильинке в доме купца Варгина.

Якобсон снабдил меня пенковыми трубками, и я предаюсь отчаянию в голубых струях голландских табаков. Мир отошел от меня, и весьма редко доходят до меня но-

вости, потрясающие Москву; только неделю спустя узнал я о странном исчезновении господина Менго, наделавшем столько хлопот нашему московскому обер-полицмейстеру, добрейшему Дмитрию Ивановичу Шульгину, а о том, как Варька с трелью из Соколовского хора разбила гитару о голову достойнейшего Степана Степановича, узнал только сегодня. Нахожу жалкие радости в самих терзаниях и мечтаю о хорошо обкуренном кенигсбергском янтаре, собираюсь даже в воскресенье двинуть на Смоленский... Может, найду там у старьевщиков.

12 мая 1827 года

Опять я в волнении, опять у меня трясутся все поджилки. Я, кажется, нашел путеводную нить... Однако по порядку.

В поисках за обкуренным янтарем пошел я сегодня, как и намеревался, на Смоленский рынок в старый ветошный ряд.

Долго рылся я безо всякого успеха среди всякого железного хлама, обломанных рюмок, синих стеклянных штофов и изъеденных мышами книг, среди которых попалась мне на глаза занятная книжонка про египетские обыкновения, называемая «Крато репея» и изданная покойным Новиковым.

Янтарей не было, и я уже собирался уходить, как увидал на рогоже среди двух сабель, старого патронташа и всякой дряни фарфоровую трубку удивительной раскраски. На синеватом фарфоре хитро переплетались знаки зодиака и окружали сверкающий позолотой герб или, быть может, магический пентакль.

Я поднял ее и начал рассматривать. Ничего подобного не было в моей коллекции.

«Что стоит, хозяин?» — спросил я у восточного человека, сидящего перед рогожей на корточках и распространявшего на полверсты запах чеснока.

«Последняя цена пятнадцать рублей», — заломил он с обычной наглостью.

«Я даю двадцать!» — услыхал я голос из-за своей спины.

Обернулся и онемел от внезапной неожиданности. Передо мной стоял мой противник, у которого отбил я в памятный вечер шелковую шаль моей незнакомки.

«Тридцать!»

«Сорок!»

«Пятьдесят!»

«И еще пять!»

«Семьдесят!» — заявил я в ажитации.

«Молодой человек,— обратился ко мне карлик.— Будет вам дурака-то валять. Мне эта трубка нужна в непременности, а вам она ни к чему. Давайте, если уж вам так угодно, разыграем ее на орел или решку».

У меня в кармане было немногим более семидесяти целковых, и стоило старику набавить десятку, как я выходил из игры. Поэтому мне ничего не оставалось, как согласиться на сделанное предложение.

«Только знаете что,— обратился я к старику, который как будто начал меня припоминать,— не зайти ли нам в трактир и не разыграть ли нам пипочку на биллиарде».

Мне казалось, что я смогу не без выгоды использовать протыкинские уроки.

«Извольте. Почему бы и нет? — усмехнулся мой собеседник.— Как бы только не пришлось вам пожалеть впоследствии, молодой человек».

«Тем лучше для вас! Условимся только, что, ежели мне суждено будет проиграть, вы не откажетесь рассказать, чем, собственно, замечательна эта трубка и почему вы ею дорожите».

«С превеликим удовольствием»,— произнес старик, и мы вошли в биллиардный зал трактира.

В прогорклом от табачного дыма воздухе на зеленом биллиардном поле выросла перед моими глазами пирамидка шаров, задрожала в какой-то необычайной отчетливости очертания и тотчас же поплыла в тумане... Мой противник с неожиданной для его хилого тела силою первым же ударом раскатал ее и подставил мне шары под астролябию и простые угольники.

Я взял кий, закусил нижнюю губу и, памятуя протыкинские наставления, стал резать подлужные шары почти на киксах. Раз, два, три... пять билий подряд клал я шар за шаром и только на шестой попал в коробку и пошел гусаром.

«Недурно, молодой человек, совсем недурно для начала»,— промолвил карлик, весь как-то надулся до крайности, бочком подошел к биллиарду, прищурил глаз и стукнул по седьмому номеру.

Два раза от борта, круазе и в правую лузу, и притом с такой силой и треском, что все посетители вздрогнули и поспешили к нашей игре, и я сразу почувствовал, что погиб.

«Тэкс, молодой человек!» — и снова удар в двойное апроше и два шара в лузу.

«Тэкс!» — и снова чисто сделанный шар.

Кругом стояла стеной восторженная толпа трактирных завсегдатаев, даже толстобрюхий буфетчик, с золотой цепочкой на жилете, и тот вышел из-за стойки и уставился глазами на шары.

«Тэкс, молодой человек!» — и снова удар, какой-то особенный, снизу, по-карличьему обыкновению. Билия за билией, шар за шаром, и вдруг у меня мурашки забегали по спине. Диковинное движение шаров показалось мне до ужаса знакомым, когда-то совсем недавно виденным, неповторяемым.

Еще момент, диковинный контр-ку в двойной шпандилии, и я не мог уже сомневаться, что передо мной в карликовом облике сам, столь таинственно пропавший, господин Менго собственной персоной.

На меня напала мелкая дрожь и огненные круги завертелись в глазах, когда мой страшный противник под ропот восхищения сделал последний шар и, прищурив глаз, подошел ко мне.

«Так-то, молодой человек! Плакала ваша трубка. В орлянку-то вам было бы куда способнее со мной тягаться».

Трубка была уже в его руках, и он собирался уходить, когда я очнулся от столбняка и задержал его движением руки.

«Послушайте, почтеннейший, трубка бесспорно за вами, но не забудьте, что по нашему уговору она будет вашей только после того, как вы расскажете о ее достоинствах».

«С превеликим удовольствием, дражайший мой, с превеликим удовольствием»,— ответил мой страшный собеседник, придвинул стул к моему столу и, прищурив глаз, начал.

«Слыхали ли вы, молодой человек, как в Филях прошлым летом один из курильщиков табака был взят живым на небо?»

На мой отрицательный ответ старик придвинулся ко мне поближе и рассказал удивительную историю. По его словам, в начале прошлого лета неизвестно откуда приехал в Фили

какой-то не то француз, не то немец и снял у Феогностова домик на пригорке по дороге к Мазилову.

«Ничего себе, хороший немец, тихий... Только что начали за ним наблюдение иметь; сначала, значит, мальчишки, а потом, когда всякие художества за ним обнаружились, и настоящий народ».

«...настоящий народ» прозвучало у меня в ушах низким фальцетом, и я чуть не упал от неожиданности на пол, передо мной на стуле сидел, оживленно продолжая свой рассказ, уже не карла, а буфетчик из-за стойки. Его щеки в волнении рассказа надувались, золотая цепочка на жилете мерно покачивалась, а сзади, опираясь на спинку стула, стоял страшный биллиардщик, курил трубку и молчал.

Я не мог понять, как и когда произошла эта замена. Почему? Каким образом? В висках у меня стучало, а буфетчик, раскачиваясь, продолжал между тем свой рассказ.

«Стали примечать, что любил, значит, он, немец, в ясный безоблачный день, чтобы ему в садике посеред малинника чай собрали, и выходил он к чаю в синем халате и с трубкой. Садился это, значит, в кресло, набивал трубку табачищем и начинал из нее разные кольца и финтифлюшки из табачного дыма выдувать. Понатужится это немец, и, глядишь, из трубки дымище этот самый вылезает, словно как бы калач, али словно бутылка, али как бусы, а то и незнамо что... Вылезет и кругами ходит, растет, раздувается и вдруг потом прямо в небо облаком уходит и плывет себе, как настоящая божья тучка.

Посидит, бывало, этот немец за чаем часика два и все небо, сукин сын, испакостит. Все небо от евойных облаков рябью пойдет. А раз пропыхтел это он со своей трубкой целый день, и к вечеру из его проклятых туч даже дождь пошел, желтый, липкий, как сопля, и табачищем после этого дождя ото всякой лужи за версту несло... Только ему это даром не прошло... Уж очень много он из себя этих облаков-то повыдувал, нутро свое израсходовал, и в успенском посту, как раз в пятницу, поднялся это, значит, здоровый ветер, да как этого самого немца со стульчика-то сдунет, потому в нем веса-то никакого не осталось, да, как перышко, кверху и потянет. Немец руками и ногами болтыхается... Куда тут, подымает его все выше и выше... Народ собрался; хотели в набат ударить, да только отец Василий запретил святые

церковные колокола по такому плохому делу сквернить и высказался, что «собаке и собачья смерть». Так, значит, и пропал немец-то в поднебесье».

«Так вот-с, молодой человек,— сказал на этот раз уже мой страшный противник, отрываясь от трубки и пуская клубы дыма,— эта трубка-то она самая и есть».

Я пришел в оцепенение, не зная, принимать ли слышанный рассказ за чистую монету или за дьявольское наваждение, а карла с хохотом выбежал в дверь.

К счастью, мой столбняк продолжался недолго, и я, выскочив на улицу, успел заметить, как старик повернул налево за угол.

Через минуту я подбежал к углу и заметил вдали сгорбленную спину уходящего вдаль карлика. Я прокрался в тени забора, с бьющимся сердцем выслеживая своего противника, ища найти хоть какую-то нить, ведущую к прелестной незнакомке.

Перебегая от угла к углу, боясь быть обнаруженным, я не раз, казалось, терял его, то в изогнутых переулках около Плющихи, то идя по набережной по пути к Потылихе. Однако всякий раз замечал в отдалении сгорбленную спину и снова устремлялся в преследование.

Мы вышли к пустырям на задах Новодевичья монастыря. Вечерело. Сизая дымка тумана, поднимавшегося с прудиков у монастырских стен, застилала крепостные башни. В воздухе на красном закатном небе кружились с криком гигантские стаи тысяч ворон... мне казалось, что сейчас, именно сейчас произойдет что-то необычайное, страшно необычайное... Сутулая фигура старика, пробиравшаяся среди зарослей бурьяна, начала плясать в моих глазах...

Однако ничего не случилось, и как только вышли на берег против устья Сетуни, старик подошел к небольшой группе домов, остановился, вынул из кармана ключ, отпер дверь и вошел в дом. Через несколько минут в одном из окон второго этажа загорелся свет.

Я подошел почти вплотную к домику и, чтобы не привлекать ничьего внимания, залег в заросли крапивы, ошпарив изрядно левую руку. Лежал, не спуская глаз с двери и засветившегося окна. Было видно, как человеческая фигура ходила по комнате, и тень ее пробегала по потолку. Потом задернули занавеску.

Сумерки сгущались. Вскоре стало совсем темно. Я лежал

в своей крапиве как заговоренный, не имея сил встать и чего-то ожидая.

Не знаю, долго ли пролежал я у таинственного дома, если бы меня не вывел из оцепенения женский голос, раздавшийся совсем рядом со мной.

«Гляди-ка, тетка Арина, у табашника-то свет зажжен».

«А ну его, плюгавого, к бесу».

Две бабы, громыхая ведрами, прошли к Москворечью. Я поднялся и пошел домой, обессиленный, взволнованный необычайно.

Теперь сижу и записываю в свою тетрадь события безумного дня, и мне кажется, что из темного угла карла смотрит на меня, прищурив один глаз и посасывая свою трубку. Жутко и сладостно. Завтра чуть свет пойду караулить старика.

13 мая 1827 года

Краска стыда заливает мои щеки, а я тем не менее ничего не чувствую... Словно какая-то струна оборвалась в моей груди, и ничего нету... Придя вчера за полночь из-под Новодевичьего, весь грязный и измученный, я сел в кресло, твердо решив не раздеваться и ждать рассвета. Однако, записав несколько страниц в своем журнале, не мог преодолеть усталости.

Утром проснулся я от стука в свою дверь и увидел всклокоченную голову Емельяна и около него босоногую девчонку с письмом в руках.

Письмо было от Верочки, и я вздрогнул, узнав знакомый лиловый конверт, заклеенный зеленой облаткой... Однако вместо радости ощутил скорее некоторую досаду из-за разрушения моих намерений.

Верочка писала, что в данковскую усадьбу дошли слухи о моем нездоровии, ее обеспокоившие, и она поспешила приехать со своей матушкой в Москву, тем более что приданое белье все уже перешито, а подвенечное платье решили делать в Москве у мадам Демонси на Кузнецком.

Еще месяц назад напоминание о предстоящей моей свадьбе и приезд невесты наполнили бы меня радостью бесконечной, а теперь...

Я стоял около ее кресла с шапкой в руках, не зная, куда деть руки и что ей сказать... Вначале она вся раскрас-

нелась от счастья и щебетала как канарейка, потом ее сверкающий взгляд начал потухать... Она взяла меня за обшлаг рукава и замолчала. Вместо того чтобы поцеловать, как прежде, как всегда, розовые ногти ее руки, я почему-то стал ругать мадам Демонси и настаивать на том, что мужские шинели шьют обычно у Лебура...

...У нее на глазах показались слезы... Она пыталась что-то сказать об усадьбе, отстроенной для ее приданого, но не кончила, расплакалась и убежала. В глубине комнат послышались ее рыдания... и тотчас зашлепали, приближаясь, чьи-то козьи ботинки... Я не стал ждать появления их обладательницы и, махнув рукой, вышел из дому... Заметил только почему-то в прихожей знакомую Верочкину картонку для шляп и рядом кадушку с медом... почему-то они меня потрясли, и сейчас вот вижу их перед глазами, а в душе пустота. Шел как каменный... Как каменный бродил под Новодевичьим, как каменный тщетно лежал у карлова дома в крапиве и вот сейчас пишу и ничего не чувствую... хотя ясно мне, что произошло что-то гадкое, непоправимое.

Емельян говорит, что Горелины тотчас же после обеда заложились и уехали назад в Данков.

Но что же я могу сделать, она владеет всеми помыслами и всеми чувствами моей души, она одна... Бедная, бедная Верочка! Особенно жалко мне тебя, когда вспомнил я твою шляпную картонку, всю запыленную и так и оставленную, наверно, нераскрытой... Но что же я могу сделать, что?..

5 июня 1827 года

Я безумствую, я сам чувствую, что начинаю сходить с ума... Судорожно сжимаю руки и хватаю пальцами пустоту. Я уже пять раз видел ее, но чего это мне стоило, к чему это привело...

Родственники мои обеспокоены, держат меня в наблюдении. Сначала зачастил ко мне дядюшка Евграф, пока его зеленая, со шнурами венгерская куртка, сизые подусники и висящая на нитке полуоторванная пуговица верхнего кармана не привели меня в неистовство и я не наговорил ему дерзостей.

Немедля на моем диване появилась вздыхающая Евпраксия Дмитровна, нестареющая прелестница пудов на восемь

весу, та самая, которой мы в детстве так любили на сон грядущий класть под одеяло сливочные тянучки и турецкий рахат-лукум. Затем из облаков московского Олимпа выплыл сам князь Борис... И как бы невзначай, чуть ли не каждый день, стал забегать на две понюшки табаку добрейший Карл Августович, наш медикус и светило.

Не имея, по причине субординации, никакой возможности отделаться от непрошеных гостей, я начал было вояжировать через окно буфетной комнаты к Евсегнеевым на двор и по задам к Сивцеву Вражку, но окончательно сгубил этим делом свою репутацию; был выслежен, и Евсегнееву приказано было спустить с цепи Полкана.

Пути отступления сузились, и далеко не каждый день мог я добраться до своей заветной крапивы. Да и лежа в своей крапиве, я был обречен на отчаяние и терзание...

Часто я целыми днями лежал бесцельно, дверь не отворялась, дом, казалось, был пуст, и вечером в окнах не зажигалось света.

Иногда неожиданно, часто уже совсем к ночи, запотелые окна освещались, и я мог видеть двигающиеся тени... Чьи? Сердце мое пыталось разгадать это.

Иногда же, и не было тогда пределов моему счастью, дверь отворялась. Сгорбленный карла, без шапки, с горящими глазами, выходил и останавливался в ожидании, и через минуту... как бы не замечая его, выходила она, всегда неожиданная, всегда прелестная... всегда в том же платье со сверкающим ожерельем.

Проходила мимо, совсем близко от моей крапивы, улыбаясь неизвестно кому, и карлик сопутствовал ей в отдалении, перебегая улицы нервной походкой, оборачиваясь, задыхаясь...

Желая разгадать тайну, страшась быть обнаруженным, я выслеживал их с осторожностью необычайной, следуя за их шагами из-за угла и перебегая за ними к новому углу только тогда, когда и девушка, и старик скрывались за поворотом.

Так шли мы из улицы в улицу. И чем ближе мы приближались к центру, тем труднее становилась моя погоня, и я с трепетом всматривался в прохожих, боясь встретить знакомых и поразить их своею стремительностью.

Однажды, когда я перебегал через Знаменку, чья-то рука крепко схватила меня за плечо. Я обернулся, чтобы

оттолкнуть нападавшего, и увидел самого князя Бориса, побагровевшего от ярости и шипящего сквозь зубы свои французские проклятия.

Но что все это было по сравнению с тем, что я видел в своем преследовании, что повергало меня в ужас, чего не мог постичь мой мозг...

Мои преследования, если я их доводил до конца, всегда оканчивались одним и тем же.

Когда подбегал я к последнему повороту, я всегда видел спину остановившегося в замешательстве карла, и ничего больше... Незнакомка исчезала без следа. Она не могла войти в какой-либо дом, потому что ее исчезновение совершалось в разных частях Москвы. И что всего удивительней — исчезновение это было, очевидно, неожиданно для самого ее охранителя.

Старик обычно останавливался как вкопанный, стоял некоторое время, потом горбился еще более и с хмурым видом поворачивал назад... а я бежал, чтобы не попасться ему на дороге. Забирался в какой-нибудь кабак и в ужасе восторга и отчаяния забывался в винных парах, ища в опьянении удержать в своем взоре тонкую линию шеи и пряди волос, стелющиеся по ветру...

13 июня 1827 года

Я не могу больше... Мозг мой немеет... В глазах все застилается дымкой... Я должен раскрыть эту тайну или должен погибнуть, потому что я дошел уже до черты.

Сегодня часов в пять мне удалось в первый раз за всю неделю победить бдительность моих сторожей, и, стравив приставленного ко мне кузена Кондаурова в пикет с добрейшим Карлом Августовичем, я прямо без обиняков выбежал через парадное крыльцо на улицу, вскочил на проезжавший наемный колибер и бил несчастного ваньку по шее до тех пор, пока всякая опасность погони исчезла.

Передо мною стояла новая задача... Я решил проследить, что делает старик после того, как девушка исчезает.

Мне повезло. Не успел я вылезти из своего овражка в крапиву, как в одиноком доме заскрипели ступени, открылась дверь, и склоненный старик пропустил Юлию, я был сегодня уверен, что ее зовут именно так.

Я последовал за ними, на этот раз по направлению к

Плющихе, мы вышли к Москве-реке, шли по Садовой, шли по Кречетникам, и за углом у Спаса около коковинского дома девушка исчезла.

Старик, как обычно, постоял некоторое время на месте и потом с опущенной головой поплелся назад. Я спрятался за церковным крыльцом и, когда он проходил мимо, слышал, как вздыхал он со стоном и скрипел зубами... Скоро я понял в своем преследовании, что направлялся он прямо домой, и действительно, вскоре он отпер большим ключом дверь одинокого домика, и через минуту в окне затеплился свет и забегали тени... Я залег в крапиву, не имея сил уйти, очарованный движением мигающих теней... Через полчаса свет внезапно погас... заскрипели ступеньки, карла вышел на улицу, и (мозг мой теряется, руки вновь начинают дрожать) в открытую дверь вновь показалась мне незнакомка. Вновь засверкало ее ожерелье, вновь улыбалась она кому-то, проходя мимо моего логовища.

Я следовал за ними недолго, в Ростовских переулках она пропала, а через час в лунном свете осенней ночи она вновь, в третий раз, вышла из одинокого домика у Девичья монастыря на берег Москвы-реки... Я не имел сил следовать за дьявольской четой и, потрясая кулаками и призывая небо в свидетели, всю ночь пробегал по московским улицам, пока не наткнулся на Кондаурова, также всю ночь бегавшего по Москве в поисках за мною.

14 июля 1827 года

Я рассказал им все... Я не мог больше скрывать. Мы варили пунш. Послали за Протыкиным, и я, дрожа от волнения, увлажняя горячей влагой пересыхающее горло, день за днем, шаг за шагом, рассказывал им свои терзания, а Протыкин клялся в том, что каждое слово мое — святая истина.

Карл Августович поминутно хлопал себя по коленам и восклицал: «Ach! Mein Gott!» А Кондауров, дымя конногвардейской трубкой, ходил из угла в угол так, что трещали половицы, и чертыхался, как два эскадрона на плохом постое.

К утру они поклялись выручить меня и, если нужно, силой раскрыть дьявольское наваждение... Светает... Тушу свечу и хоть немножко засну перед решительными событиями...

16 июля 1827 года

Насколько моя память могла сохранить стремительность событий, все произошло так... Должно быть, так... Протыкин и Ванька Кондауров выскочили из своей засады, прямо на карла. Юлия даже не обернулась на поднявшийся крик и, как сомнамбула, неизвестно кому улыбаясь, продолжала свой путь.

В два прыжка я был около нее... Дрожь охватила все мое тело, и какой-то дьявольский трепет наполнил душу... Она была прекрасна, как никогда, сверкающее ожерелье поднималось на мерно дышащей груди, и линии тела сквозили сквозь складки легкого платья. Я сорвал с головы свой цилиндр и бросил его далеко прочь. Шел почти рядом с ней, и все кругом наполнялось биением моего сердца... Сначала молчал, потом начал говорить что-то бессвязно, прерывно. Она заметила меня, наклонила голову и улыбалась.

Мы вышли к стене Новодевичьего, туда, где аллеи лип спускаются к прудам... Какие-то птицы кружились между ветвей... Я взял ее за руку, холодную, как лед... Она остановилась, посмотрела на меня влажным, невидящим взором, улыбнулась и протянула ко мне свои руки.

Не помня себя, я схватил ее в свои объятия и губами коснулся ее холодных губ.

В тот же миг, как бы в порыве ветра, ее волосы взвились куда-то; глаз, бывший перед моим глазом, куда-то дернулся в сторону, мои руки упали в пустоту, упал бы, наверное, и я, если бы чья-то рука не схватила меня за воротник.

Когда я очнулся, передо мной стоял батюшка и тряс меня за шиворот... А сзади Емельян еле сдерживал взмыленного Замира.

А теперь, вот уже второй день, я сижу на ключе... Батюшка гневается... Трясущийся от страха Карл Августович ставит мне к затылку кровососные банки, и за дверью слышно, как Евпраксия Дмитриевна поговаривает о горячечной рубашке... Меня бьет лихорадка.

Но клянусь всеми святыми, что я разрушу эти дьявольские козни и спасу Юлию. Мою околдованную невесту. Мою единственную, мою вечную...

18 февраля 1828 года

Уже второй день, как я могу сидеть в кровати и даже писать. Кругом все тихо... уже давно февраль. В окно видно, как галки скачут на снежных сугробах, и тишина данковских палестин, как целительный бальзам, врачует мою душу.

Верочка не отходит от меня... Поправляет мне подушки, приносит чай и читает мне вслух похождения Телемака... Милая девушка презрела все сплетни и московские толки и как обрученная невеста выпросила у батюшки сопровождать меня в данковскую деревню. И вот, благодаря ей, я поправляюсь... Кругом все тихо... Слышно, как в столовой тикает маятник английских часов, да скрипят половицы, когда кто-нибудь идет через залу.

Я знаю, что стоит мне дернуть за сонетку, Верочка положит на стол свое вязанье (она сидит в столовой у окна), отворит дверь и придет ко мне... поэтому все так спокойно, так безмятежно... Милая девушка, родная моя голубушка, как я тебе благодарен.

Сегодня я выпросил у нее свои тетради и, найдя дневник своих ужасных дней, вновь содрогнулся. Но хочу все же закончить эту грустную повесть и вот пишу.

Хватило бы только силы собраться с мыслями. Мои записки прерываются в тот самый день, когда я, запертый батюшкой, сидел в своей московской комнате и обдумывал способы освобождения Юлии от власти старика, несчастного старика, всю меру трагедии которого я не мог тогда и подозревать.

В ту же ночь я вырезал при помощи алмаза, бывшего в перстне, подаренном мне еще в детстве покойным дедушкой, стекло из рамы, отвинтил ставню и, сжимая в своих дрожащих руках кинжал и длинноствольный пистолет, еще задолго до полуночи был уже под Новодевичьим.

В домике света не было, все было пусто. Я дрожал в своей крапиве от пронизывавшей осенней сырости и хотел уже ломать дверь и силою проникнуть в дом Юлии, как вдруг в ночной тиши услышал знакомые стонущие вздохи... Старик возвращался домой, очевидно, после прогулки по Москве вслед за исчезающей Юлией... Со скрипом отперся и снова заперся дверной замок. Вскоре в знакомом окне второго этажа затеплился свет. Я встал со своей крапивы,

поднял тесину с мосточка, перекинутого через овраг, приставил ее к крыльцу и с возможной тихостью, засунув пистолет за пояс и закусив в зубах лезвие кинжала, влез по доске кверху и прильнул глазами к окошку.

Диковинное, не забываемое никогда видение открылось мне сквозь запотелое стекло. Вся комната была завалена книгами, медными инструментами и табачными трубками. Старик сидел в углу на низком диване и ожесточенно курил... Из глубины его трубки невиданной спиралью поднимался необычайный дым — густой, светящийся.

Судорожным напряжением щек старик выдувал из трубки огромные клубы дыма, которые то волчком крутились по комнате, то кольцами плавали в воздухе, бесследно рассыпаясь, то, возникая столбом, крутились по полу.

Вдруг я стал замечать, что в своем неистовом вращении клубы дыма, сцепляясь и расцепляясь, начали принимать форму человеческой фигуры... В бешеном вращении стали намечаться голова, плечи. Но они не понравились, очевидно, старику. Он поднял длинный вишневый чубук и ударил по дымовой статуе... Она распалась, и только мелкие обрывки дыма волчками побежали по полу.

Старик снова набил трубку, и снова завертелись клубы дыма, снова выросла табачная статуя, все более и более... Мгновение, и я весь задрожал — из дымовых струй возникли очертания Юлии, очертилось знакомое плечо, засверкало ожерелье, волосы шевелились в дуновении вихря. Юлия вздрогнула и стала быть.

Я готов был ворваться в комнату, но старик вдруг дико захохотал и ударил ее по голове своей трубкой. Видение рассыпалось, и я, в ужасе содрогнувшись, сорвался с подоконника и полетел вниз.

Надо думать, что при падении я потерял сознание, потому что все последующее я помню отрывочно и не вполне ясно.

Очнулся я от стука двери... Как в прошлый раз, как в двадцать прошлых раз, Юлия вышла и направилась к Москве, и старый карла заковылял за ней.

Вскоре они скрылись за углом дома. Я не последовал за ними, но вновь поднялся наверх, выдавил стекло и в каком-то пароксизме безумия ворвался в комнату. Начал разбивать трубки, рвать листы книг, ломать инструменты, топтать ногами, дико хохоча и рвя на себе волосы... Мое бе-

шенство кончилось только тогда, когда застучала дверь и по лестнице послышались торопливые шаги. Я выскочил в окно и, должно быть, упав на землю, снова лишился сознания.

Когда сознание вернулось ко мне, дом пылал, как костер, а вдали среди ив по направлению к Новодевичью бежала, согнувшись в три погибели, знакомая старческая фигура. Я последовал за ним, прихрамывая, потому что повредил при падении ногу.

Старик бежал прямо к Пречистенской башне, его стон был слышен далеко издали, но, однако, он не поднялся к липовой аллее, ведущей от пруда к стенам, а подбежал к самой поверхности воды. Я подумал, что он хочет топиться, и ускорил шаги, поскольку мне это позволяла волочившаяся нога.

Уже светало. Предрассветный туман белесоватым платом висел над водой, последние листья дерев шорохом отвечали порывам ветра... Старик пропал... Я долго искал его у пруда и наконец, когда уже почти совсем рассвело, увидел, что его следы подошли к каменному водостоку, ведущему внутрь монастырской ограды... Отверстие водостока было очень широко, и я на четвереньках свободно последовал вслед за отпечатками следов... Гнилой запах водостока душил меня, колени скользили в какой-то слизи, но я полз...

Верочка запрещает мне писать, утверждает, что у меня воспалились глаза и началась лихорадка. Что делать, таковы законы моего пленительного плена. Подчиняюсь, буду слушать похождения Телемака и дремать...

22 февраля 1828 года

Продолжаю. Когда я вылез из водосточной трубы, то оказался на кладбище. Стариковских следов не было видно, так как кругом была желтая трава. Я начал бродить среди могил, весь дрожа от лихорадки и пережитого волнения... Боль в ноге усилилась, ныло плечо... Я уже отчаялся и хотел искать выхода, когда вдруг услышал сдавленные рыдания. Прислушался и пошел по направлению звуков... Вскоре я мог уже различить его фигуру... Он лежал, содрогаясь рыданиями, на большой могильной плите... Я подошел поближе... Жалкий старик, схватившись обеими руками за голову, припав лицом к старому, покрытому мохом камню, рыдал в последнем отчаянии.

Я подошел вплотную к могильной плите, и кровь застыла у меня в жилах. Посредине плиты был вырезан на камне круглый медальон... Это был удивительный по искусству барельеф, изображавший женский профиль... Я затрясся всем своим существом — это был портрет той, которая еще так недавно рождалась в клубах табачного дыма и исчезала на перекрестках московских улиц. Я понял все и упал без чувств.

Утром батюшка разыскал меня почти бездыханного среди могил Новодевичья монастыря, около плиты, все подписи которой и барельеф были изрублены и уничтожены тут же валявшимся топором... около плиты рос большой старый вяз, на суку которого висел, качаясь от ветра, повесившийся старик.

И сколько он не сто...

Верочка требует, чтобы я сжег все эти бумажки и забыл своего старика и Юлию... Подчиняюсь тебе, моя славная девочка, моя женушка, и в руки твои отдаю вместе с тетрадью этой и всю мою будущую жизнь.

Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии

Часть I

ПОЯВЛЕНИЕ

Глава первая,

в которой благосклонный читатель знакомится с торжеством социализма и героем нашего романа Алексеем Кремневым

Было уже далеко за полночь, когда обладатель трудовой книжки № 37413, некогда называющийся в буржуазном мире Алексеем Васильевичем Кремневым, покинул душную, переполненную свыше меры большую аудиторию Политехнического музея.

Туманная дымка осенней ночи застилала заснувшие улицы. Редкие электрические фонари казались затерянными в уходящих далях перекрещивающихся переулков. Ветер трепал желтые листья на деревьях бульвара, и сказочной громадой белели во мраке Китайгородские стены.

Кремнев повернул на Никольскую. В туманной дымке она, казалось, приняла свои былые очертания. Тщетно кутаясь в свой плащ от пронизывающей ночной сырости, Кремнев с грустью посмотрел на Владимирскую церковь, часовню Пантелеймона. Ему вспомнилось, как с замиранием сердца он, будучи первокурсником-юристом, много лет тому назад купил вот здесь, направо, у букиниста Николаева «Азбуку социальных наук» Флеровского, как три года спустя положил начало своему иконному собиранию, найдя у Елисея Силина Новгородского Спаса, и те многие и долгие часы, когда с горящими глазами прозелита рылся он в рукописных и книжных сокровищах Шибановского антикваритета — там, где теперь при тусклом свете фонаря можно было прочесть краткую надпись «Главбум».

Гоня преступные воспоминания. Алексей повернул к Иверским, прошел мимо Первого дома Советов и потонул в сумраке московских переулков.

А в голове болезненно горели слова, фразы, обрывки фраз, только что слышанных на митинге Политехнического музея:

«Разрушая семейный очаг, мы тем наносим последний удар буржуазному строю!»

«Наш декрет, запрещающий домашнее питание, выбрасывает из нашего бытия радостный яд буржуазной семьи и до скончания веков укрепляет социалистическое начало».

«Семейный уют порождает собственнические желания, радость хозяйчика скрывает в себе семена капитализма».

Утомленная голова ныла и уже привычно мыслила, не думая, сознавала, не делая выводов, а ноги машинально передвигались к полуразрушенному семейному очагу, обреченному в недельный срок к полному уничтожению, согласно только что опубликованному и поясненному декрету 27 октября 1921 года.

Глава вторая,

повествующая о влиянии Герцена на воспаленное воображение советского служащего

Намазав маслом большой кусок хлеба, благословенный дар богоспасаемой Сухаревки, Алексей налил себе стакан уже вскипевшего кофе и сел в свое рабочее кресло.

Сквозь стекла большого окна был виден город, внизу в туманной дымке ночи молочными светлыми пятнами тянулись вереницы уличных фонарей. Кое-где в черных массивах домов тускло желтели освещенные еще окна.

«Итак, свершилось,— подумал Алексей, вглядываясь в ночную Москву.— Старый Морис, добродетельный Томас, Беллами, Блечфорт и вы, другие, добрые и милые утописты. Ваши одинокие мечты стали всеобщим убеждением, величайшие дерзания — официальной программой и повседневной обыденщиной! На четвертый год революции социализм может считать себя безраздельным владыкой земного шара. Довольны ли вы, пионеры утописты?»

И Кремнев посмотрел на портрет Фурье, висевший над одним из книжных шкафов его библиотеки.

Однако для него самого — старого социалиста, крупного советского работника, заведующего одним из отделов Мирсовнархоза, как-то не все ладно было в этом воплощении, чувствовалась какая-то смутная жалость к ушедшему, какая-то паутина буржуазной психологии еще затемняла социалистическое сознание.

Он прошелся по ковру своего кабинета, скользнул взором по переплетам книг и неожиданно для себя заметил вереницу томиков полузабытой полки. Имена Чернышевского, Герцена и Плеханова глядели на него с кожаных корешков солидных переплетов. Он улыбнулся, как улыбаются при воспоминаниях детства, и взял с полки том павленковского Герцена.

Пробило два. Часы ударили с протяжным шипением и снова смолкли.

Хорошие, благородные и детски наивные слова раскрывались перед глазами Кремнева. Чтение захватывало, волновало, как волнуют воспоминания первой юношеской любви, первой юношеской клятвы.

Ум как будто освободился от гипноза советской повседневности, в сознании зашевелились новые, не банальные мысли, оказалось возможным мыслить иными вариантами.

Кремнев в волнении прочел давно забытую им пророческую страницу:

«Слабые, хилые, глупые поколения,— писал Герцен,— протянут как-нибудь до взрыва, до той или другой лавы, которая их покроет каменным покрывалом и предаст забвению летописей. А там? А там настанет весна, молодая жизнь закипит на их гробовой доске, варварство младенчества, полное недостроенных, но здоровых сил, заменит старческое варварство, дикая свежая мощь распахнется в молодой груди юных народов, и начнется новый круг событий и третий том всеобщей истории.

Основной тон его можно понять теперь. Он будет принадлежать социальным идеям. Социализм разовьется во всех фазах своих до крайних последствий, до нелепостей. Тогда снова вырвется из титанической груди революционного меньшинства крик отрицания и снова начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего кон-

серватизма и будет побежден грядущей, неизвестной нам революцией».

«Новое восстание. Где же оно? И во имя каких идеалов? — думалось ему.— Увы, либеральная доктрина всегда была слаба тем, что она не могла создать идеологии и не имела утопий.— Он улыбнулся с сожалением.— О, вы, Милюковы и Новгородцевы, Кусковы и Макаровы, какую же утопию вы начертаете на ваших знаменах?! Что, кроме мракобесия капиталистической реакции, имеете вы в замену социалистического строя?! Я согласен... мы живем далеко не в социалистическом раю, но что вы дадите взамен его?»

Книга Герцена вдруг с треском захлопнулась сама собой, и пачка фолиантов in octo и in folio упала с полки.

Кремнев вздрогнул.

В комнате удушливо запахло серой. Стрелки больших стенных часов завертелись все быстрее и быстрее и в неистовом вращении скрылись из глаз. Листки отрывного календаря с шумом отрывались сами собой и взвивались кверху, вихрями бумаги наполняя комнату. Стены как-то исказились и дрожали.

У Кремнева кружилась голова, и холодный пот увлажнял его лоб. Он вздрогнул, в паническом ужасе бросился к двери, ведущей в столовую, и дверь с треском ломающегося дерева захлопнулась за ним. Он тщетно искал кнопку электрического освещения. Ее не было на старом месте. Передвигаясь в темноте, он натыкался на незнакомые предметы. Голова кружилась, и сознание мутнело, как во время морской болезни.

Истощенный усилиями, Алексей опустился на какой-то диван, никогда не бывший здесь раньше, и сознание его покинуло.

Глава третья,

изображающая появление Кремнева в стране утопии, и его приятные разговоры с утопической москвичкой об истории живописи XX столетия

Серебристый звонок разбудил Кремнева.

— Allo, да, это я,— послышался женский голос.— Да,

приехал... очевидно, сегодня ночью... Еще спит... Очень устал, заснул не раздеваясь... Хорошо. Я позвоню.

Голос смолк, и шуршание юбок указало, что его обладательница вышла из комнаты.

Кремнев приподнялся на диване и протер в изумлении глаза.

Он лежал в большой желтой комнате, залитой лучами утреннего солнца. Мебель странного и неизвестного Алексею стиля из красного дерева с зелено-желтой обивкой, желтые полуоткрытые занавеси окон, стол с диковинными металлическими приборами окружали его. В соседней комнате слышались легкие женские шаги. Скрипнула дверь, и все смолкло.

Кремнев вскочил на ноги, желая дать себе отчет в случившемся, и быстро подошел к окну.

На голубом небе, как корабли, плыли густые осенние облака. Рядом с ними немного ниже и совсем над землей скользили несколько аэропланов, то маленьких, то больших, диковинной формы, сверкая на солнце вращающимися металлическими частями.

Внизу расстилался город... Несомненно, это была Москва.

Налево высилась громада кремлевских башен, направо краснела Сухаревка, а там, вдали гордо возносились Кадаши.

Вид, знакомый уже много, много лет.

Но как все изменилось кругом. Пропали каменные громады, когда-то застилавшие горизонт, отсутствовали целые архитектурные группы, не было на своем месте дома Нирензее... Зато все кругом утопало в садах... Раскидистые купы деревьев заливали собою все пространство почти до самого Кремля, оставляя одинокие острова архитектурных групп. Улицы-аллеи пересекали зеленое, уже желтеющее море. По ним живым потоком лились струи пешеходов, ауто, экипажей. Все дышало какой-то отчетливой свежестью, уверенной бодростью.

Несомненно, это была Москва, но Москва новая, преображенная и просветленная.

— Неужели я сделался героем утопического романа? — воскликнул Кремнев.— Признаюсь, довольно глупое положение!

Чтобы ориентироваться, он стал осматриваться кругом,

рассчитывая найти какой-нибудь отправной пункт к познанию нового, окружающего его мира.

— Что ожидает меня за этими стенами? Благое царство социализма, просветленного и упрочившегося? Дивная анархия князя Петра Алексеевича? Вернувшийся капитализм? Или, быть может, какая-нибудь новая, неведомая ранее социальная система?

Поскольку можно было судить из окна, было ясно одно: люди жили на достаточно высокой ступени благосостояния и культуры и жили сообща. Но этого было еще слишком мало, чтобы понять сущность окружающего.

Алексей с жадностью стал рассматривать окружавшие его вещи, но они давали весьма мало.

В большинстве это были обычные вещи, выделявшиеся только тщательностью своей отделки, какой-то подчеркнутой точностью и роскошью выполнения и странным стилем своих форм, отчасти напоминавших русскую античность, отчасти орнаменты Ниневии. Словом, это был сильно русифицированный Вавилон.

Над диваном, где проснулся Кремнев, очень глубоким и мягким, висела большая картина, привлекшая его внимание.

С первого взгляда можно было уверенно сказать, что это классическая вещь Питера Брейгеля Старшего. Та же композиция с высоким горизонтом, те же яркие и драгоценные краски, те же коротенькие фигурки, но... на доске были написаны люди в цветных фраках, дамы с зонтиками, автомобили, и, несомненно, сюжетом служило что-то вроде отлета аэропланов. Такой же характер носили несколько репродукций, лежавших на соседнем столике.

Кремнев подошел к большому рабочему столу, сделанному из чего-то вроде плотной пробки, и с надеждой стал рассматривать разбросанные по столу книги. Это были 5-й том «Практика социализма» В. Шер'а, «Ренессанс кринолина, опыт изучения современной моды», два тома Рязанова «От коммунизма к идеализму», 38-е издание мемуаров Е. Кусковой, великолепное издание «Медного всадника», брошюра «О трансформации В-энергии», и, наконец, его рука, дрожа от волнения, взяла номер свежей газеты.

Волнуясь, Кремнев развернул небольшой лист. На заголовке стояла дата 23 часа вечера 5 сентября 1984 года. Он перемахнул через 60 лет.

Не могло быть сомнения, что Кремнев проснулся в стране будущего, и он углубился в чтение газетного листка.

«Крестьянство», «Прошлая эпоха городской культуры», «Печальной памяти государственный коллективизм...», «Это было во времена капиталистические, т. е. почти во времена доисторические...», «Англо-французская изолированная система» — все эти фразы и десятки других фраз пронизывали мозг Кремнева, наполняли его душу изумлением и великим желанием знать.

Телефонный звонок прервал его размышления. В комнате рядом послышались шаги. Дверь распахнулась, и вместе с потоком солнечных лучей вошла молодая девушка.

— Ах, вы уже встали...— весело сказала она.— Я проспала вчера ваш приезд.

Звонок повторился.

— Простите, это, должно быть, брат беспокоится о вас... allo... да, он уже встал... не знаю, право... сейчас спрошу... Вы говорите по-русски, господин... Чарли... Мен... если не ошибаюсь.

— Конечно, конечно,— неожиданно для себя и очень громко воскликнул Алексей.

— Говорит, и даже с московским акцентом... хорошо, я передам трубку.

Растерявшийся Кремнев получил в свои руки нечто, напоминающее телефонную трубку старого времени, услышал привет, сказанный мягким басом, обещание заехать за ним в три часа, уверение в том, что сестра позаботится обо всем, и, кладя аппарат, сознал вполне, вполне отчетливо, что его принимают за кого-то другого, кому имя Чарли Мен.

Девушки уже не было в комнате. С решимостью отчаяния Алексей бросился к столу, рассчитывая в бумагах и пачках телеграмм найти хотя бы какой-нибудь просвет окружающей тайны.

Удача сопутствовала ему. Первое же письмо, им взятое, было подписано Чарли Меном, и в нескольких фразах его излагалось желание последнего посетить Россию и ознакомиться с ее инженерными установками в области земледелия.

Глава четвертая,

*продолжающая третью
и отделенная от нее только для того,
чтобы главы не были очень длинными*

Дверь растворилась, и молодая хозяйка вошла в комнату, неся над головой поднос с дымящимися чашками утреннего завтрака.

Алексей был очарован этой утопической женщиной, ее почти классической головой, идеально посаженной на крепкой сильной шее, широкими плечами и полной грудью, поднимавшей с каждым дыханием ворот рубашки.

Минутное молчание первого знакомства вскоре сменилось оживленным разговором. Кремнев, избегая роли рассказчика, увлек разговор в область искусства, полагая, что не затруднит этим девушку, живущую в комнатах, где на стенах висят прекрасные куски живописи.

Молодая девушка, которую звали Параскевой, с жаром юношеского увлечения повествовала о своих любимых мастерах: старом Брейгеле, Ван Гоге, старике Рыбникове и великолепном Ладонове. Пламенная поклонница неореализма, она искала в искусстве тайны вещей, чего-то или божеского, или дьявольского, но превышающего силы человеческие.

Признавая высшую ценность всего сущего, она требовала от художника конгениальности с творцом вселенной, ценила в картине силу волшебства, Прометееву искру, дающую новую сущность, и, в сущности, была близка к реализму старых мастеров Фландрии.

Из ее слов Кремнев понял, что после живописи эпохи великой революции, ознаменованной футуризмом и крайним разложением старых традиций, наступил период барокко-футуризма, футуризма укрощенного и сладостного.

Затем, как реакция, как солнечный день после грозы, на первое место выдвинулась жажда мастерства; в моду начали входить болонцы, примитивисты были как-то сразу забыты, и залы музеев с картинами Мемлинга, Фра Беато, Боттичелли и Кранаха почти не находили себе посетителей. Однако, подчиняясь кругу времен и не опуская своей высоты, мастерство постепенно получило декоративный наклон и создало монументальные полотна и фрески эпохи варварин-

ского заговора, бурной полосой прошла эпоха натюрморта и голубой гаммы, затем властителем мировых помыслов сделались суздальские фрески XII века, и наступило царство реализма с Питером Брейгелем, как кумиром.

Два часа прошли незаметно, и Алексей не знал, слушать ли ему глубокий контральто своей собеседницы или же рассматривать тяжелые косы, заплетенные на ее голове.

Широко открытые внимательные глаза и родинка на шее говорили ему лучше всяких доказательств о превосходстве неореализма.

Глава пятая,

чрезвычайно длинная, необходимая для ознакомления Кремнева с Москвой 1984 года

— Я повезу вас через весь город,— сказал брат Параскевы, Никифор Алексеевич Минин, усаживая Кремнева в автомобиль,— и вы увидите нашу теперешнюю Москву.

Автомобиль двинулся.

Город казался сплошным парком, среди которого архитектурные группы возникали направо и налево, походили на маленькие затерявшиеся городки.

Иногда неожиданный поворот аллеи открывал глазам Кремнева очертания знакомых зданий, в большинстве построенных в XVII и XVIII веках.

За густыми кронами желтеющих кленов мелькнули купола Барашей, расступившиеся липы открыли пышные контуры растрелиевского здания, куда Кремнев, будучи гимназистом, ходил ежедневно. Словом, они ехали по утопической Покровке.

— Сколько жителей в вашей Москве? — спросил Кремнев своего спутника.

— На этот вопрос не так легко ответить. Если считать территорию города в объеме территории эпохи великой революции и брать постоянно ночующее здесь население, то теперь оно достигает уже, пожалуй, 100 000 человек, но лет сорок назад, непосредственно после великого декрета об уничтожении городов, в ней насчитывалось не более 30 000. Впрочем, в дневные часы, если считать всех приехавших и

обитателей гостиниц, то, пожалуй, мы можем получить цифру, превышающую пять миллионов.

Автомобиль замедлил ход. Аллея становилась уже; архитектурные массивы сдвигались все теснее и теснее, стали попадаться улицы старого городского типа. Тысячи автомобилей и конных экипажей в несколько рядов, сплошным потоком стремились к центру города, по широким тротуарам двигалась сплошная толпа пешеходов. Поражало почти полное отсутствие черного цвета: яркие голубые, красные, синие, желтые, почти всегда одноцветные мужские куртки и блузы смешивались с женскими очень пестрыми платьями, напоминавшими собою нечто вроде сарафанов с кринолином, но все же являющими собою достаточное разнообразие форм.

В толпе сновали газетчики, продавщики цветов, сбитня и сигар. Над головою толпы и потоком экипажей сверкали на солнце волнующиеся полотнища стягов и тяжей, увешанных флажками.

Почти под самыми колесами экипажей шныряли мальчишки, продававшие какие-то листочки и кричавшие благим матом: «Решительная!! Ваня вологжанин против Тер-Маркельянца! Два жоха и одна ничка!»

В толпе оживленно спорили и перебрасывались возгласами, повторяя больше всего слова о плоцке и ничке.

Кремнев с изумлением поднял глаза на своего спутника. Тот улыбнулся и сказал:

— Национальная игра! Сегодня последний день международного состязания на звание первого игрока в бабки. Тифлисский чемпион по игре в козьи кочи оспаривает бабошное первенство у вологжанина... Да только Ваня себя в обиду не даст, и к вечеру Театральная площадь в пятый раз увидит его победителем.

Автомобиль все замедлял свой бег, миновал Лубянскую площадь, сохранившую и Китайгородскую стену и виталиевских мальчиков, и спускался мимо первопечатника вниз. Театральная площадь была залита морем голов, фейерверком ярких, горящих на солнце флагов, многоярусными трибунами, поднимавшимися почти до крыши Большого театра, и ревом толпы. Игра в бабки была в полном разгаре.

Кремнев посмотрел налево, и сердце его учащенно забилось. «Метрополя» не было. На его месте был разбит

сквер и возвышалась гигантская колонна, составленная из пушечных жерл, увитых металлической лентой, спиралью поднимавшейся кверху и украшенной барельефом. Увенчивая колоссальную колонну, стояли три бронзовых гиганта, обращенные друг к другу спиной и дружески взявшиеся за руки. Кремнев едва не вскрикнул, узнав знакомые черты лица.

Несомненно, на тысяче пушечных жерл, дружески поддерживая друг друга, стояли Ленин, Керенский и Милюков.

Автомобиль круто повернул налево, и они пронеслись почти у подножья монумента.

Кремнев успел на барельефе различить несколько фигур — Рыкова, Коновалова и Прокоповича, образующих живописную группу около наковальни, Середу и Маслова, занятых посевом, и не мог удержаться от недоуменного восклицания, в ответ на которое его спутник процедил сквозь зубы, не вынимая из сих последних дымящейся трубки:

— Памятник деятелям великой революции.

— Да послушайте, Никифор Алексеевич, ведь эти же люди вовсе не образовывали в своей жизни таких мирных групп!

— Ну, для нас в исторической перспективе они сотоварищи по одной революционной работе, и поверьте, что теперешний москвич не очень-то помнит, какая между ними была разница! Хоп! черт подери, чуть песика не задавил!..

Автомобиль шарахнулся налево, дама с собачкой направо; поворот, машина ныряет в какую-то подземную трубу, несколько мгновений несется с бешеной скоростью под землей в ярко освещенном тоннеле, вылетает на берег Москвы-реки и останавливается около террасы, установленной столиками.

— Давайте на дорогу коку с соком выпьем,— сказал Минин, вылезая из ауто.

Кремнев оглянулся кругом, перед ним высилась громада моста, настолько точно воспроизводящего Каменный мост XVII века, что он казался сошедшим с гравюры Пикара. А сзади в полном великолепии, горя золотыми куполами, высился Кремль, со всех сторон охваченный золотом осеннего леса.

Половой в традиционных белых брюках и рубашке принес какой-то напиток, напоминающий гоголь-моголь, смешанный с цукатами, и наши спутники некоторое время молча созерцали.

— Простите,— начал Кремнев после некоторого молчания.— Мне, как иностранцу, непонятна организация вашего города, и я не совсем представляю себе историю его расселения.

— Первоначально на переустройство Москвы повлияли причины политического свойства,— ответил его спутник.— В 1934 году, когда власть оказалась прочно в руках крестьянских партий, правительство Митрофанова, убедившись на многолетней практике, какую опасность представляют для демократического режима огромные скопления городского населения, решилось на революционную меру и провело на съезде Советов известный, конечно, и у вас в Вашингтоне декрет об уничтожении городов свыше 20 000 жителей.

Конечно, труднее всего этот декрет было выполнить в отношении к Москве, насчитывающей в 30-е годы свыше четырех миллионов населения. Но упрямое упорство вождей и техническая мощь инженерного корпуса позволили справиться с этой задачей в течение 10 лет.

Железнодорожные мастерские и товарные станции были отодвинуты на линию пятой окружной дороги, железнодорожники двадцати двух радиальных линий и семьи их были расселены вдоль по линии не ближе того же пятого пояса, т. е. станций Раменского, Кубинки, Клина и прочих. Фабрики постепенно были эвакуированы по всей России на новые железнодорожные узлы.

К 1937 году улицы Москвы начали пустеть, после заговора Варварина работы, естественно, усилились, инженерный корпус приступил к планировке новой Москвы, сотнями уничтожались московские небоскребы, нередко прибегали к динамиту. Отец мой помнит, как в 1939 году самые смелые из наших вождей, бродя по городу развалин, готовы были сами себя признать вандалами, настолько уничтожающую картину разрушения являла собой Москва. Однако перед разрушителями лежали чертежи Жолтовского, и упорная работа продолжалась. Для успокоения жителей и Европы в 1940 году набело закончили один сектор, который пора-

зил и успокоил умы, а в 1944-м все приняло теперешний вид.

Минин вынул из кармана небольшой план города и развернул его.

— Теперь, однако, крестьянский режим настолько окреп, что этот священный для нас декрет уже не соблюдается с прежней пуританской строгостью. Население Москвы нарастает настолько сильно, что наши муниципалы для соблюдения буквы закона считают за Москву только территорию древнего Белого города, т. е. черту бульваров дореволюционной эпохи.

Кремнев, внимательно рассматривавший карту, поднял глаза.

— Простите,— сказал он,— это какая-то софистика, вот то, что кругом Белого города, ведь это тоже почти что город. Да и вообще я не понимаю, как могла безболезненно пройти ваша аграризация страны и какую жалкую роль могут играть в народном хозяйстве ваши города-пигмеи.

— Мне очень трудно в двух словах ответить на ваш вопрос. Видите ли, раньше город был самодовлеющ, деревня была не более как его пьедестал. Теперь, если хотите, городов вовсе нет, есть только место приложения узла социальных связей. Каждый из наших городов — это просто место сборища, центральная площадь уезда. Это не место жизни, а место празднеств, собраний и некоторых дел. Пункт, а не социальное существо.

Минин поднял стакан, залпом осушил его и продолжал:

— Возьмите Москву, на сто тысяч жителей в ней гостиниц на 4 миллиона, в уездных городах на 10 000 — гостиниц на 100 000, и они почти не пустуют. Пути сообщения таковы, что каждый крестьянин, затратив час или полтора, может быть в своем городе и бывает в нем часто.

Однако пора и в путь. Нам нужно сделать изрядный крюк и заехать в Архангельское за Катериной.

Автомобиль снова двинулся в путь, свернув к Пречистенскому бульвару. Кремнев оглянулся с изумлением: вместо золотого и блестящего, как тульский самовар, храма Христа Спасителя увидел титанические развалины, увитые плющом и, очевидно, тщательно поддерживаемые.

Глава шестая,

*в которой читатель убедится,
что в Архангельском за 80 лет не разучились
делать ванильные ватрушки к чаю*

Старинный памятник Пушкину возвышался среди разросшихся лип Тверского бульвара.

Воздвигнутый на том месте, где некогда Наполеоном были повешены мнимые поджигатели Москвы, он был немым свидетелем грозных событий истории российской.

Помнил баррикады 1905 года, ночные митинги и большевистские пушки 1917-го, траншеи крестьянской гвардии 1932-го и варваринские бомбометы 1937-го и продолжал стоять в той же спокойной сосредоточенности, ожидая дальнейших.

Один только раз он пытался вмешаться в бушующую стихию политических страстей и напомнил собравшимся у его ног свою сказку о рыбаке и рыбке, но его не послушались...

Автомобиль свернул в Большие Аллеи запада. Здесь когда-то тянулись линии Тверских-Ямских, тихих и запыленных улиц. Роскошные липы Западного парка сменили их однообразные строения, и, как остров среди волнующегося зеленого моря, виднелись среди зарослей купола собора и белые стены Шанявского университета.

Тысячи автомобилей скользили по асфальтам большого Западного пути. Газетчики и продавщицы цветов сновали в пестрой толпе оживленных аллей, сверкали желтые тенты кофеен, в застывших облаках чернели сотни больших и малых точек аэропилей, и грузные пассажирские аэролеты поднимались кверху, отправляясь в путь с западного аэродрома.

Автомобиль промчался мимо аллей Петровского парка, залитого шумом детских голосов, скользнул мимо оранжерей Серебряного бора, круто повернул налево и, как сорвавшаяся с тетивы стрела, ринулся по Звенигородскому шоссе.

Город как будто бы и не кончался. Направо и налево тянулись такие же прекрасные аллеи, белели двухэтажные домики, иногда целые архитектурные группы, и только вместо цветов между стенами тутовых деревьев и яблонь

ложились полосы огорода, тучные пастбища и сжатые полосы хлебов.

— Однако,— обернулся Кремнев к своему спутнику,— ваш декрет об уничтожении городских поселений, очевидно, сохранился только на бумаге. Московские пригороды протянулись далеко за Всехсвятское.

— Простите, мистер Чарли, но это уже не город, это типичная русская деревня севера,— и он рассказал удивленному Кремневу, что при той плотности населения, которого достигло крестьянство Московской губернии, деревня приняла необычный для сельских поселений вид. Вся страна образует теперь кругом Москвы на сотни верст сплошное сельскохозяйственное поселение, прерываемое квадратами общественных лесов, полосами кооперативных выгонов и огромными климатическими парками.

— В районах хуторского расселения, где семейный надел составляет 3 — 4 десятины, крестьянские дома на протяжении многих десятков верст стоят почти рядом друг с другом, и только распространенные теперь плотные кулисы тутовых или фруктовых деревьев закрывают одно строение от другого. Да, в сущности, и теперь пора бросить старомодное деление на город и деревню, ибо мы имеем только более сгущенный или более разреженный тип поселения того же самого земледельческого населения.

— Вы видите группы зданий,— Минин показал вглубь налево,— несколько выделяющихся по своим размерам. Это — «городища», как принято их теперь называть. Местная школа, библиотека, зал для спектаклей и танцев и прочие общественные учреждения. Маленький социальный узел. Теперешние города такие же социальные узлы той же сельской жизни, только бóльших размеров. А вот мы и приехали.

Лес расступился, и вдали показались стройные стены Архангельского дворца.

Крутой поворот, и авто, шумя по гравию шоссе, миновал широкие ворота, увенчанные трубящим архангелом, и остановился около оранжерейного корпуса, спугнув целую стаю молодых девушек, игравших в серсо.

Белые, розовые, голубые платья окружили приехавших, и девушка лет семнадцати с криком радости бросилась в объятия Алексеева спутника.

— Мистер Чарли Мен, а это Катерина, сестра!

Через минуту на лужайке архангельского парка, рядом с бюстоколоннами античных философов, гости были усажены у шумящего самовара за стол, на льняных скатертях которого высились горы румяных ватрушек.

Алексей был закормлен ватрушками, обольстительными, пышными, ванильными ватрушками, и душистым чаем, засыпан цветами и вопросами об американских нравах и обычаях и о том, умеют ли в Америке писать стихи, и боясь попасть впросак, сам перешел в наступление, задавая собеседницам по два вопроса на каждый получаемый от них.

Уплетая ватрушку за ватрушкой, он узнал, что Архангельское принадлежало «Братству святого Флора и Лавра», своеобразному светскому монастырю, братья коего вербовались среди талантливых юношей и девушек, выдвинувшихся в искусствах и науках.

В анфиладе комнат старого дворца и липовых аллеях парка, освященных былыми посещениями Пушкина и блистательной, галантной жизнью Бориса Николаевича Юсупова с его вольтерьянством и колоссальной библиотекой, посвященной французской революции и кулинарии,— шумела юная толпа носителей Прометеева огня творчества, делившая труды с радостями жизни.

Братство владело двумя десятками огромных и чудесных имений, разбросанных по России и Азии, снабженных библиотеками, лабораториями, картинными галереями, и, насколько можно было понять, являлось одной из наиболее мощных творческих сил страны. Алексея поразили строгие правила устава, почти монастырского по типу, и та сияющая, звенящая радость, которая пропитывала все кругом: и деревья, и статуи, и лица хозяев, и даже волокна осенних паутин, реющих под солнцем.

Но все это было ничтожно в сравнении с глубоким взором и певучим голосом Параскевиной сестры. Положительно, утопические женщины сводили Алексея с ума.

Глава седьмая,

убеждающая всех желающих в том,
что семья есть семья — и всегда семьей останется

— Скорее, скорее, друзья мои,— торопил спутников Никифор Алексеевич, укладывая Катеринины баулы и саки в

автомобиль.— На 9 часов сегодня назначено начало генерального дождя, и через час метеорофоры поднимут целые вихри.

Хотя Кремневу, услыхав эту тираду, полагалось бы удивиться и расспрашивать, он этого не сделал, так как всецело был увлечен укутыванием в шарфы Параскевиной сестры.

Зато, когда машина бесшумно неслась по полотну Ново-Иерусалимского шоссе и по обе стороны его мелькали поля с тысячами трудящихся на них крестьян, спешивших до дождя увезти последние скирды не убранного еще овса, он не удержался и спросил своего спутника:

— За коим чертом вы затрачиваете на поля такое количество человеческой работы? Неужели ваша техника, легко управляющая погодой, бессильна механизировать земледельческий труд и освободить рабочие руки для более квалифицированных занятий?

— Вот он, американец-то, где оказался! — воскликнул Минин.— Нет, уважаемый мистер Чарли, против закона убывающего плодородия почвы далеко не пойдешь. Наши урожаи, дающие свыше 500 пудов с десятины, получаются чуть ли не индивидуализацией ухода за каждым колосом. Земледелие никогда не было столь ручным, как теперь. И это не блажь, а необходимость при нашей плотности населения. Так-то!

Он замолчал и усилил скорость. Ветер свистал, и шарфы Катерины развевались над автомобилем. Алексей смотрел на ее ресницы, на губы, просвечивающие сквозь складки шарфа, и она казалась ему бесконечно знакомой... А ласковая улыбка наполняла радостью и уютом его душу.

Темнело, и на небе громоздились тучи, когда автомобиль подъехал к домикам, поместившимся на крутосклонах реки Ламы.

Обширная семья Мининых занимала несколько маленьких домиков, построенных в простых формах XVI века и обнесенных тыном, придававшим усадьбе вид древнего городка. Лай собак и гул голосов встретил подъехавших у ворот. Какой-то дюжий парень схватил в охапку Катерину, две девочки и мальчик набросились на свертки с припасами из Москвы, девица гимназического возраста требовала какого-то письма, а седой старик, оказавшийся главой семьи, Алексеем Александровичем Мининым, взял своего тезку под свое покровительство и пошел отводить ему помещение,

удивляясь чистоте его речи и покрою американского платья, живо напомнившему ему моды его глубокого детства.

Минут через десять, умытый и причесанный и чувствующий смущение всем своим существом, Алексей входил в столовую. За общим столом, усыпанным цветами, жарко спорили о чем-то, и стоило ему показаться на пороге, как он немедленно был выбран в судьи, как человек «совершенно беспристрастный». На его компетентное решение были представлены два плоских блюда, одно декорированное раками и черным виноградом, а другое представляющее композицию из лимона, красного винограда и граненого бокала с вином. Две конкурентки, Мег и Наташа, со всей звонкостью своих пятнадцатилетних голосов требовали решить, чей натюрморт «голландее».

С трудом выйдя из затруднения и признав одну композицию забытым оригиналом Якова Путера, а другую плагиатом с Вилема Кольфа, Алексей получил в награду аплодисменты и огромный кусок сливочного торта, изобретенного, как ему сообщили, самим профессором кулинарии — отсутствующей Параскевой.

Маленький Антошка пытался узнать у американца, правда ли, что в Гудзоновом заливе клюют на удочку кашалоты, но тотчас же был отправлен спать. Пожилая дама, наливая третий стакан чая, осведомилась, есть ли у Алексея дети, и недоумевала, как могла его жена отпустить лететь через Атлантический океан. Весьма опечаленная уверением Алексея в отсутствии у него всяких признаков супруги, она хотела продолжать свои расспросы дальше, но чьи-то руки закрыли его глаза платком, и он понял, скорее почувствовал, сзади себя присутствие Катерины.

— В жмурки, в жмурки,— кричала детвора, увлекая его в залу, и ему пришлось немало побегать, пока Катерина не попалась в его объятия.

Появившийся Алексей Александрович восстановил порядок и, освободив Кремнева из плена и усадив его около камина, произнес:

— Сегодня с дороги я не хочу затруднять вас деловыми разговорами. Но все же скажите, каково первое впечатление изолированного американца от наших палестин?

Кремнев рассыпался в уверении своего удивления и восхищения, но звуки клавесина прервали их беседу. Кате-

рина усадила своего брата аккомпанировать и пела романс Александрова на слова Державина:

Шекснинска стерлядь золотая,
Каймак и борщ уже стоят;
В графинах вина, пунш, блистая,
То льдом, то искрами манят!

Затем последовал «Павлин», дуэт «Новоселье молодых», и Кремнев чувствовал, что поет она для него, что никому не хочет она отдавать его внимания.

За окном густыми потоками лил «генеральный» дождь, назначенный с 9 до 2 ночи. Комната стала еще уютнее, спокой семейной тишины согревался догорающим камином. Тетя Василиса гадала Наташе на картах, а молодежь строила планы, как лучше показать американцу Ярополец и Белую Колпь. Однако Алексей Александрович категорически заявил, что он абонирует мистера Чарли на все утро и что всем пора спать.

Кремнев выпросил у Мег почитать на сон грядущий учебник всеобщей истории и стал перебираться под руководством Катерины и адским дождем в отведенный ему флигель.

Глава восьмая,

историческая

Катерина, устроив Кремневу постель и положив на стол горсть пряников и фиников, посмотрела на него пристально и вдруг спросила:

— А у вас в Америке все такие, как вы?

Смущенный Алексей опешил, а не менее смущенная девица убежала, хлопнув дверью, и в отпотелых стеклах окна мелькнул огонек ее удаляющегося фонаря.

Кремнев остался один.

Он долго не мог прийти в себя от впечатлений чудовищного дня, в котором, однако, все виденные чудеса подавлялись чарующим образом Параскевиной сестры.

Очнувшись, Кремнев разделся и раскрыл исторический учебник.

Вначале он ничего не мог понять: пространно излагалась история Ярополецкой волости, затем история Волоколамска,

Московской губернии, и только в конце книги страницы содержали в себе повествование о русской и мировой истории.

С возрастающим волнением глотал Кремнев страницу за страницей, закусывая исторические события пряниками Катерины.

Прочитав изложение событий своей эпохи, Кремнев узнал, что мировое единство социалистической системы держалось недолго и центробежные социальные силы весьма скоро разорвали царившее согласие. Идея военного реванша не могла быть вытравлена из германской души никакими догматами социализма, и по пустяшному поводу раздела угля Сарского бассейна немецкие профессиональные союзы принудили своего президента Радека мобилизовать немецких металлистов и углекопов и занять Сарский бассейн вооруженной силой впредь до разрешения вопроса съездом Мирсовнархоза.

Европа снова распалась на составные части. Постройка мирового единства рухнула, и началась новая кровопролитная война, во время которой во Франции старику Эрве удалось провести социальный переворот и установить олигархию ответственных советских работников. После шести месяцев кровопролития совместными усилиями Америки и Скандинавского объединения мир был восстановлен, но ценою разделения мира на пять замкнутых народнохозяйственных систем — немецкой, англо-французской, америко-австралийской, японо-китайской и русской. Каждая изолированная система получила различные куски территории во всех климатах, достаточные для законченного построения народнохозяйственной жизни, и в дальнейшем, сохраняя культурное общение, зажила весьма различной по укладу политической и хозяйственной жизнью.

В Англо-Франции весьма скоро олигархия советских служащих выродилась в капиталистический режим, Америка, вернувшись к парламентаризму, в некоторой части денационализировала свое производство, сохраняя, однако, в основе государственное хозяйство в земледелии, Японо-Китай быстро вернулся политически к монархизму, сохранив своеобразные формы социализма в народном хозяйстве, одна только Германия в полной неприкосновенности донесла режим двадцатых годов.

История же России представлялась в следующем виде.

Свято храня советский строй, она не могла до конца национализировать земледелие.

Крестьянство, представлявшее собой огромный социальный массив, туго поддавалось коммунизации, и через пять-шесть лет после прекращения гражданской войны крестьянские группы стали получать внушительное влияние как в местных Советах, так равно и в В. Ц. И. К.

Их сила значительно ослаблялась соглашательской политикой пяти эсеровских партий, которые не раз ослабляли влияние чисто классовых крестьянских объединений.

В течение десяти лет на съездах Советов ни одно течение не имело устойчивого большинства, и власть фактически принадлежала двум коммунистическим фракциям, всегда умеющим в критические моменты сговориться и бросить рабочие массы на внушительные уличные демонстрации.

Однако конфликт, возникший между ними по поводу декрета о принудительном введении методов «евгеники», создал положение, при котором правые коммунисты остались победителями ценою установления коалиционного правительства и видоизменения конституции уравнением силы воты крестьян и горожан. Перевыборы Советов дали новый съезд Советов с абсолютным перевесом чисто классовых крестьянских группировок, и с 1932 года крестьянское большинство постоянно пребывает в В. Ц. И. К. и съездах, и режим путем медленной эволюции становится все более и более крестьянским.

Однако двойственная политика эсеровских интеллигентских кругов и метод уличных демонстраций и восстаний не раз колеблет основы советской конституции и заставляет крестьянских вождей держаться коалиции при организации Совнаркома, чему способствовали неоднократные попытки реакционного переворота со стороны некоторых городских элементов. В 1934 году после восстания, имевшего целью установление интеллигентской олигархии наподобие французской, поддержанного из тактических соображений металлистами и текстилями, Митрофанов организует впервые чисто классовый крестьянский Совнарком и проводит декрет через съезд Советов об уничтожении городов.

Восстание Варварина 1937 года было последней вспышкой политической роли городов, после чего они растворились в крестьянском море.

В сороковых годах был утвержден и проведен в жизнь генеральный план земельного устройства и были установлены метеорофоры, сеть силовых магнитных станций, управляющих погодой по методам А. А. Минина. Шестидесятые годы ознаменовались бурными религиозными волнениями и попыткой церкви захватить в Ростовском районе Советскую власть. Глаза слипались, и утомленный мозг отказывался что-либо воспринимать.

Кремнев загасил огонь и закрыл глаза. Однако ему долго мерещились глаза Катерины, и он смог уснуть только глубокой ночью.

Глава девятая,

которую молодые читательницы могут и пропустить, но которая рекомендуется особому вниманию членов коммунистической партии

Книжные полки, сверкавшие тусклой позолотой кожаных переплетов, и несколько владимиро-суздальских икон были единственным украшением обширного кабинета Алексея Александровича Минина.

Портрет его отца, известного воронежского, а впоследствии константинопольского профессора, дополнял убранство комнаты, выдержанной в глубоких кубовых тонах.

— Моя обязанность,— начал гостеприимный хозяин,— ознакомить вас с сущностью окружающей нас жизни, так как без этого знакомства вы не поймете значения наших инженерных установок и даже самой возможности их. Но право, мистер Чарли, я теряюсь, с чего начать. Вы почти что пришлец с того света, и мне трудно судить, в какой области нашей жизни встретили вы для себя особенно новое и неожиданное.

— Мне бы хотелось,— сказал Кремнев,— узнать те новые социальные основы, на которых сложилась русская жизнь после крестьянской революции 30-х годов, без них, мне кажется, будет трудно понять все остальное.

Его собеседник ответил не сразу, как бы обдумывая свой рассказ.

— Вы спрашиваете,— начал он,— о тех новых началах, которые внесла в нашу социальную и экономическую жизнь

крестьянская власть. В сущности, нам были не нужны какие-либо новые начала, наша задача состояла в утверждении старых вековых начал, испокон веков бывших основою крестьянского хозяйства.

Мы стремились только к тому, чтобы утвердить эти великие извечные начала, углубить их культурную ценность, духовно преобразить их и придать их воплощению такую социально-техническую организацию, при которой они бы проявляли не только исключительную пассивную сопротивляемость, извечно им свойственную, но имели бы активную мощь, гибкость и, если хотите, ударную силу.

В основе нашего хозяйственного строя, так же как и в основе античной Руси, лежит индивидуальное крестьянское хозяйство. Мы считали и считаем его совершеннейшим типом хозяйственной деятельности. В нем человек противопоставлен природе, в нем труд приходит в творческое соприкосновение со всеми силами космоса и создает новые формы бытия. Каждый работник — творец, каждое проявление его индивидуальности — искусство труда.

Мне не нужно говорить вам о том, что сельская жизнь и труд наиболее здоровы, что жизнь земледельца наиболее разнообразна, и прочие само собою подразумевающиеся вещи. Это есть естественное состояние человека, из которого он был выведен демоном капитализма.

Однако для того, чтобы утвердить режим нации XX века на основе крестьянского хозяйства и быта, нам было необходимо решить две основных организационных проблемы.

Проблему экономическую, требующую для своего разрешения создание такой народнохозяйственной системы, которая опиралась бы на крестьянское хозяйство, оставляла бы за ним руководящую роль и в то же время образовала бы такой народнохозяйственный аппарат, который бы в своей работе технически не уступал никакому другому мыслимому аппарату и держался бы автоматически, без подпорок неэкономического государственного принуждения.

Проблему социальную, или, если хотите, культурную, т. е. проблему организации социального бытия широких народных масс в таких формах, чтобы при условии сельского расселения сохранились высшие формы культурной жизни, бывшие долго монополией городской культуры, и был возможен культурный прогресс во всех областях

жизни духа, по крайней мере не меньший, чем при всяком другом режиме.

При этом, мистер Чарли, мы должны были не только разрешить обе поставленные проблемы, но глубоко задуматься над средствами для такого разрешения. Для нас было важно не только то, чего мы хотели достичь, но также и то, как это достижение могло совершиться.

Эпоха государственного коллективизма, когда идеологи рабочего класса осуществляли на земле свои идеалы методами просвещенного абсолютизма, привела русское общество в такое состояние анархической реакции, при котором было невозможно вводить какой-либо новый режим путем приказа или декрета, санкционируемого силою штыка.

Да и самому духу наших идеологов были чужды идеи какой-либо монополии в области социального творчества.

Не являясь сторонниками монистического понимания, мышления и действия, наши вожди в большей своей части имели сознание, способное вместить плюралистическое миропредставление, а потому считали жизнь тогда оправдавшей себя, когда она могла полностью проявить все возможности, все зачатки, в ней заключающиеся.

Нам, говоря короче, нужно было разрешить поставленные проблемы так, чтобы предоставить возможность конкурировать с нами любым начинаниям, любым творческим усилиям. Мы стремились завоевать мир внутренней силой своего дела и своей организации, техническим превосходством своей организационной идеи, а отнюдь не расшибанием морды всякому иначе мыслящему.

Кроме того, мы всегда признавали государство и его аппарат далеко не единственным выражением жизни общества, а потому в своей реформе в большей своей части оперлись на методы общественного разрешения поставленных проблем, а не на приемы государственного принуждения.

Впрочем, мы никогда не были тупо принципиальны, и когда нашему делу угрожало насилие со стороны, а целесообразность заставляла вспомнить, что в наших руках была государственная власть, то наши пулеметы работали не хуже большевистских.

Из двух очерченных мною проблем экономическая не представляла нам особенных затруднений.

Вам, наверное, известно, что в социалистический период

нашей истории крестьянское хозяйство почитали за нечто низшее, за ту протоматерию, из которой должны были выкристаллизироваться «высшие формы крупного коллективного хозяйства». Отсюда старая идея о фабриках хлеба и мяса. Для нас теперь ясно, что взгляд этот имеет не столько логическое, сколько генетическое происхождение. Социализм был зачат как антитеза капитализма; рожденный в застенках германской капиталистической фабрики, выношенный психологией измученного подневольной работой городского пролетариата, поколениями, отвыкшими от всякой индивидуальной творческой работы и мысли, он мог мыслить идеальный строй только как отрицание строя, окружающего его.

Будучи наемником, рабочий, строя свою идеологию, ввел наемничество в символ веры будущего строя и создал экономическую систему, в которой все были исполнителями и только единицы обладали правом творчества.

Однако, простите, мистер Чарли, я несколько отклонился в сторону. Итак, социалисты мыслили крестьянство как протоматерию, ибо обладали экономическим опытом только в пределах обрабатывающей индустрии и могли мыслить только в понятиях и формах своего органического опыта.

Для нас же было совершенно ясно, что с социальной точки зрения промышленный капитализм есть не более как болезненный, уродливый припадок, поразивший обрабатывающую промышленность в силу особенностей ее природы, а вовсе не этап в развитии всего народного хозяйства.

Благодаря глубоко здоровой природе сельского хозяйства его миновала горькая чаша капитализма, и нам не было нужды направлять свое развитие в его русло. Тем паче что и сам коллективистический идеал немецких социалистов, в котором трудящимся массам предоставлялось быть в хозяйственных работах исполнителем государственных предначертаний, представлялся нам с социальной точки зрения чрезвычайно мало совершенным по сравнению с строем трудового земледелия, в котором работа не отделена от творчества организационных форм, в котором свободная личная инициатива дает возможность каждой человеческой личности проявить все возможности своего духовного развития, предоставляя ей в то же время использовать в нужных случаях всю мощь коллективного крупного хозяйства, а также общественных и государственных организаций.

Уже в начале XX века крестьянство коллективизировало и возвело на степень крупного кооперативного предприятия все те отрасли своего производства, где крупная форма хозяйства имела преимущества над мелким, в своем настоящем виде представляет организм наиболее устойчивый и технически совершенный.

Такова опора нашего народного хозяйства. Гораздо труднее было поставить обрабатывающую промышленность. Было бы, конечно, глупо рассчитывать в этой области на возрождение семейного производства.

Ремесло и кустарничество при теперешней заводской технике исключено в подавляющем большинстве отраслей производства. Однако и здесь нас вывела крестьянская самодеятельность; крестьянская кооперация, обладающая гарантированным и чрезвычайным объемом сбыта, задушила в зародыше для большинства продуктов всякую возможность конкуренции.

Правда, мы в этом несколько помогли ей и сломили хребет капиталистическим фабрикам внушительным податным обложением, не распространявшимся на производства кооперативные.

Однако частная инициатива капиталистического типа у нас все же существует: в тех областях, в которых бессильны коллективно управляемые предприятия, и в тех случаях, где организаторский гений высотою техники побеждает наше драконовское обложение.

Мы даже не стремимся ее прикончить, ибо считаем необходимым сохранить для товарищей кооператоров некоторую угрозу постоянной конкуренции и тем спасти их от технического застоя. Мы знаем, что и у теперешних капиталистов щучьи наклонности, но ведь давно известно, что на то и щука в море, чтобы карась не дремал.

Однако этот остаточный капитализм у нас весьма ручной, как, впрочем, и кооперативная промышленность, более склонная брыкаться, ибо наши законы о труде лучше спасают рабочего от эксплоатации, чем даже законы рабочей диктатуры, при которых колоссальная доля прибавочной стоимости усвоялась стадами служащих в главках и центрах.

Ну, а кроме того, сбросив с себя все хозяйственные предприятия, мы оставили за государством лесную, нефтяную и каменноугольную монополию и, владея топливом, правим тем самым всей обрабатывающей промышленностью.

Если к этому прибавить, что наш товарооборот в подавляющей части находится в руках кооперации, а система государственных финансов покоится на обложении ренты предприятий, применяющих наемный труд, и на косвенных налогах, то вам в общих чертах ясна будет схема нашего народного хозяйства.

— Простите, я не ослышался? — переспросил Кремнев,— вы сказали, что ваши государственные финансы основаны на косвенных налогах.

— Совершенно верно,— улыбнулся Алексей Александрович.— Вас удивляет столь «отсталый» метод, коробит в сравнении с вашими американскими подоходными системами. Но будьте уверены, что наши косвенные налоги столь же прогрессивно подоходны, как и ваши цензы. Мы достаточно знаем состав и механику потребления любого слоя нашего общества, чтобы строить налоги, главным образом, не на обложении продуктов первой необходимости, а на том, что служит элементом достатка, к тому же у нас далеко не так велика разница в средних доходах. Косвенное же обложение хорошо тем, что оно ни минуты не отнимает у плательщика. Наша государственная система вообще построена так, что вы можете годы прожить в Волоколамском, положим, уезде и ни разу не вспомнить, что существует государство, как принудительная власть.

Это не значит, что мы имеем слабую государственную организацию. Отнюдь нет. Просто мы придерживаемся таких методов государственной работы, которые избегают брать своих сограждан за шиворот.

В прежнее время весьма наивно полагали, что управлять народнохозяйственной жизнью можно только распоряжаясь, подчиняя, национализируя, запрещая, приказывая и давая наряды, словом, выполняя через безвольных исполнителей план народнохозяйственной жизни.

Мы всегда полагали, а теперь можем доказать сорокалетним опытом, что эти языческие аксессуары, обременительные и для правителя, и для управляемых, теперь столь же нам нужны, как Зевсовы перуны для поддержания теперешней нравственности. Методы этого рода нами давно заброшены, как в свое время были брошены катапульты, тараны, сигнальный телеграф и Кремлевские стены.

Мы владеем гораздо более тонкими и действительными средствами косвенного воздействия и всегда умеем поста-

вить любую отрасль народного хозяйства в такие условия существования, чтобы она соответствовала нашим видам.

Позднее, на ряде конкретных случаев, я постараюсь показать вам силу нашей экономической власти.

Теперь же, в заключение своего народнохозяйственного очерка, позвольте остановить ваше внимание на двух организационных проблемах, особенно важных для познания нашей системы.

Первая из них — это проблема стимуляции народнохозяйственной жизни. Если вы припомните эпоху государственного коллективизма и свойственное ей понижение производительных сил народного хозяйства и вдумаетесь в принципы этого явления, то вы поймете, что главные причины лежали вовсе не в самом плане государственного хозяйства.

Нужно отдать должное организационному остроумию Ю. Ларина и В. Милютина: их проекты были очень хорошо задуманы и разработаны в деталях. Но мало еще разработать, нужно осуществить, ибо экономическая политика есть прежде всего искусство осуществления, а не искусство строить планы.

Нужно не только спроектировать машину, но надлежит также найти и подходящие для ее сооружения материалы и ту силу, которая сможет эту машину провернуть. Из соломы не построишь башни Эйфеля, руками двух рабочих не пустишь в ход ротационную машину.

Если мы вглядимся в досоциалистический мир, то его сложную машину приводили в действие силы человеческой алчности, голода, каждый слагающий от банкира до последнего рабочего имел личный интерес от напряжения хозяйственной своей деятельности, и этот интерес стимулировал его работу. Хозяйственная машина в каждом своем участнике имела моторы, приводящие ее в действие.

Система коммунизма посадила всех участников хозяйственной жизни на штатное поденное вознаграждение и тем лишила их работу всяких признаков стимуляции. Факт работы, конечно, имел место, но напряжение работы отсутствовало, ибо не имело под собой основания. Отсутствие стимуляции сказывалось не только на исполнителях, но и на организаторах производства, ибо они, как и всякие чиновники, были заинтересованы в совершенстве самого хозяйственного действия, в точности и блеске работы хозяйственного аппарата, а вовсе не в результате его работы. Для

них впечатление от дела было важнее его материальных результатов.

Беря в свои руки организацию хозяйственной жизни, мы немедленно пустили в ход все моторы, стимулирующие частнохозяйственное действие — сдельная плата, тантьемы организаторам и премии сверх цен за те продукты крестьянского хозяйства, развитие которых нам было необходимо, например, за продукты тутового дерева на севере.

Восстановляя частнохозяйственную стимуляцию, естественно, мы должны были считаться с неравномерным распределением народного дохода.

В этой области львиная доля уже была сделана фактом захвата 3/4 народнохозяйственной жизни в области промышленности и торговли кооперативными аппаратами, но все же проблема демократизации народного дохода всегда стояла перед нами.

Мы в первую очередь обратились к ослаблению доли, падающей на нетрудовые доходы — главнейшие мероприятия в этой области — рентные налоги в земледелии, уничтожение акционерных предприятий и частного кредитного посредничества.

Я пользуюсь старыми экономическими терминами, мистер Чарли, чтобы вам было понятно, о чем тут речь, ибо в вашей стране они еще употребляются, у нас же... я, право, не знаю, известны ли они вообще теперешней молодежи. Таково наше решение экономической проблемы.

Гораздо более сложной и трудной была для нас проблема социальная, удержание и развитие культуры при уничтожении городов и высоких рентных доходов.

— Впрочем, уже звонят к обеду,— остановил свой рассказ Алексеев собеседник, увидав в окно, как Катерина с видимой радостью и ожесточением звонила в чугунное било, висевшее посреди широкого двора.

Глава десятая,

в которой описывается ярмарка в Белой Колпи и выясняет полное согласие автора с Анатолем Франсом в том, что повесть без любви то же, что сало без горчицы

Из сохранившейся «Расходной книги патриаршего приказа» известно, что в начале осьмнадцатого века к столу

святейшего патриарха Адриана ежедневно подавали: «папашник, присол щучий из живых, огниво белужье в ухе, баранчук севрюжий, шти с тешею, звено с хреном, схаб белужий, пирог косой с телом» и еще не менее двадцати блюд, в количествах помрачительных и качеством отменных. Сравнивая эту трапезу былых времен с утопической трапезой в гостеприимном доме Мининых, придется признать, что патриарха кормили несколько обильнее, но только несколько... Потому что, подчиняясь повелениям приехавшей из Москвы Параскевы, на обеденный стол появлялось такое количество расстегаев и кулебяк, запеченных карасей и карасей в сметане и прочей снеди, что ножки у стола, наверное бы, гнулись, кабы были немного потоньше, а социалистический деятель Кремнев просто решил, что все соучастники трапезы к вечеру непременно помрут от излишества. Однако национальные блюда, приготовленные для просвещения американца, таяли весьма скоро и бесследно и заменялись все растущими похвалами Параскеве, которая скромно просила адресовать их «Русской поварне», составленной господином Левшиным в 1818 году.

Отдохнув по православному обычаю после обеда на сеновале, молодежь потащила Кремнева на ярмарку в Белую Колпь.

Когда Кремнев и его спутники проходили берегом Ламы, тени облаков плыли по скошенному лугу, по дороге желтели пятна цветущей рябинки, и в густом воздухе осени реяли паутины.

Катерина шла, высоко подняв голову, и четкий контур ее фигуры, охваченный порывом ветра, выделялся на голубых далях, стелющихся за рекой. Мег и Наташа рвали цветы. Пахло осенней полынью.

— А вот и большая дорога!

Повернули на шоссе, обсаженное плакучими березами, и вдалеке показались купола белоколпинской церкви.

Путников обгоняли телеги, расписные, как подносы, и битком набитые девками и парнями, щелкавшими орехи. Над дорогой звонко разносились переливы частушек:

Голубок сидит на крыше,
Голубка хотят убить,
Присоветуйте, подружки,
Из троих кого любить.

Кремнева поразило почти полное отсутствие какой-либо разницы его спутников от встречных и перегоняющих. Те же костюмы, та же московская манера речи и выражений. Параскева весело и с видимым удовольствием отшучивалась от любезностей проезжавших парней, а Катерина просто вскочила в какую-то телегу, перецеловала сидевших в ней девок и отняла у опешившего парня картуз с орехами, сунув ему в рот кусок банана.

Ярмарка была в самом разгаре.

На прилавке лежали горы тульских пряников, поджаренных и с цукатами, тверские мятные стерлядкой и генералом и сочная разноцветная коломенская пастила.

Промелькнувшие столетия ничего не изменили в деревенских сластях, и только внимательный взгляд мог различить немалое количество засахаренного ананаса, грозди бананов и чрезвычайно большое обилие хорошего шоколада.

Мальчишки свистали, как в доброе старое время, в глиняных золоченых петушков, как, впрочем, они свистали и при царе Иване Васильевиче и в Великом Новгороде. Двухрядная гармоника наигрывала польку с ходом.

Словом, все было по-хорошему.

Катерина, которой было поручено просвещение «мистера Чарли», привела его в большую белую палатку и, вместо всяких комментарий, вымолвила:

— Вот!

Внутренность палатки была увешана картинами старых и новых школ. Кремнев с радостью узнавал «старых знакомых» — Венецианова, Кончаловского, «Святого Герасима» рыбниковской кисти, новгородского «Илью» Остроуховского собрания и сотни новых незнакомых картин и скульптур, живо напомнивших ему вчерашний разговор с Параскевой.

Он остановился перед «Христом отроком» Джампетрино, который пленял его в Румянцевском музее, и произнес, рискуя выдать свое инкогнито:

— Каким же образом они могли попасть на ярмарку Белой Колпи?

Параскева поспешила объяснить ему, что балаган представляет собою передвижную выставку Волоколамского музея, в котором временно гастролируют некоторые московские картины.

Густая толпа посетителей, внимательно смотрящих и обменивающихся замечаниями, свидетельствовала Кремне-

ву, что изобразительные искусства вошли весьма прочно в обиход крестьянской жизни и встречают подготовленное понимание. В последнем его убедила энергия, с которой раскупались продающиеся у входа 132-е издание книги П. Муратова «История живописи на ста страницах» и книжки «От Рокотова до Ладонова», прочтя обложку которой он убедился, что Параскева не только умеет говорить о живописи, но даже пишет книги.

В соседней палатке бабы толпились у образцов древнерусских вышивок, а два парня примерялись к шкафчику Буля.

Вскоре выставка начала пустеть, и шум голосов и звон колокола известили о начале ритмических игр, за которыми последовали матч в бабки, бег с препятствиями и другие состязания на первенство Яропольской волости. Огромные голубые афиши обещали на семь часов «Гамлета» господина Шекспира в исполнении труппы местного кооперативного союза.

Однако надо было торопиться домой и зайти на пчельник за медом. Поэтому, оставляя в стороне эти празднества, компания успела завернуть только в паноптикум, выставленный культурно-просветительным отделом губернского крестьянского союза.

Восковые бюсты — портреты всех исторических личностей — стояли по стенам, панорамы знакомили зрителя с величайшими событиями отечественной и мировой истории и диковинными жаркими странами.

Двигающиеся автоматы изображали Юлия Цезаря перед Рубиконом, Наполеона на стенах Кремля, отречение Николая II и его смерть, Ленина, говорящего на съезде Советов, Седова, разгоняющего восставших ремингтонисток, поющего баса Шаляпина и баса Гаганова.

— Посмотрите, да это ваш портрет! — воскликнула Катерина.

Кремнев остолбенел: перед ним на полотне под стеклом стоял бюст, напоминавший фотографические карточки, и под ним было подписано: «Алексей Васильевич Кремнев, член коллегии Мирсовнархоза, душитель крестьянского движения России. По определению врачей, по всей вероятности, страдал манией преследования, дегенерация ясно выражена в асимметрии лица и строении черепа».

Алексей густо покраснел и боялся взглянуть на спутников.

— Вот здорово-то! сходство изумительное, даже куртка и то как у вас, мистер Чарли! — воскликнул Никифор Алексеевич.

Все почему-то смутились и в молчании вышли из палатки паноптикума.

Торопились домой, но Катерина утащила Кремнева к пчельнику за медом. Дорога пересекала огороды с капустой. Почти синие, крепкие кочны сочными пятнами подчеркивали черноту земли. Две женщины, сильные и одетые в белые с розовыми крапинками платья, срезали наиболее созревшие из них, бросая в двухколесную тележку.

Алексей, потрясенный лицезрением своего воскового двойника, впервые за все время своего утопического путешествия ясно и до конца почувствовал всю серьезность и безвыходность своего положения.

Первородный грех его самозваного рождения связывал его по рукам и по ногам, настоящее же его имя, очевидно, в царстве крестьянской утопии было равносильно волчьему паспорту.

Но этот окружающий мир с капустными огородами, синими далями и красными гроздьями рябины уже не был чуждым ему.

Он чувствовал с ним новую, драгоценную для него связь, близость даже большую, чем к покинутому социалистическому миру, и причина этой близости — раскрасневшаяся от быстрого шага Катерина — шла рядом с ним, зачарованная, незаметно близко прильнувшая к нему.

Они замедлили шаги, спускаясь по косогору старого русла. Алексей коснулся ее руки, и пальцы их сплелись.

Над землей, совершенно черной и вспаханной, четкими рядами поднимались кроны яблонь с ветвями, изогнутыми как на старинной японской гравюре и отягощенными плодами. Крупные, красные и душистые яблоки и стволы белые, намазанные известью, насыщали воздух запахом плодородия, и ему казалось, что запах этот просачивается сквозь поры обнаженных рук и шеи его спутницы.

Так началась его утопическая любовь.

Глава одиннадцатая,

весьма схожая с главою девятою

Когда Кремнев и его спутница вернулись домой, то их давно уже ждали с ужином.

Встретили холодно и молча сели за стол. В доме чувствовалась какая-то тревога. Говорили об угрожающих событиях в Германии, о требовании немецкого совнаркома пересмотреть галицийскую границу. Алексею казалось, что не только он, но и Катерина чувствует себя чем-то виноватой.

Некоторая сухость чувствовалась и у Алексея Александровича, когда вечером Алексей вошел в его кабинет для продолжения утренней беседы.

— В утренней сегодняшней беседе,— начал седовласый патриарх,— я упустил из вида отметить еще одну особенность нашего экономического режима. Стремясь к демократизации народного дохода, мы, естественно, распыляли получаемые нами средства и столь же естественно препятствовали образованию крупных состояний.

При всех положительных качествах этого явления оно имело и отрицательные. Во-первых, ослаблялось накопление капиталов. Распыленный доход почти целиком потреблялся, и капиталообразующая сила нашего общества, особенно после уничтожения частного кредитного посредничества, естественно, была ничтожна.

Поэтому пришлось употребить значительные усилия для того, чтобы крестьянские кооперативы и некоторые государственные органы принимали серьезные меры для создания особых социальных капиталов, и тем форсировать капиталообразование. К разряду этих же мероприятий относится у нас щедрое финансирование всяких изобретателей и предпринимателей, работающих в новых областях хозяйственной жизни.

Другим последствием демократизации национального дохода являлось значительное ослабление меценатства и сокращение количества ничего не делающих людей, т. е. двух субстратов, из которых в значительной степени питались искусства и философия.

Однако и здесь крестьянская самодеятельность, сознаюсь, несколько подогретая из центра, сумела справиться с задачей.

Для процветания искусства со стороны общества требуется повышенное внимание к ним и активный и щедрый спрос на их произведения. Теперь и то, и другое налицо: сегодня мы видели в Белой Колпи выставку картин и отношение к ней населения; необходимо добавить, что наше теперешнее сельское строительство исчисляет заказываемые им фрески сотнями, если не тысячами, квадратных сажен; прекрасные куски живописи вы найдете в школах и народных домах каждой волости. Существует значительный частный спрос.

Знаете, даже, мистер Чарли, у нас в спросе не только произведения художников, но и сами художники. Мне известен не один случай, когда та или иная волость или уезд уплачивали по многолетним контрактам значительные суммы художнику, поэту или ученому только за перенос его местожительства на их территорию. Согласитесь, что это напоминает Медичи и Гонзаго времен Итальянского возрождения.

Кроме того, мы усиленно поддерживаем «братство Флора и Лавра», «изографа Алимпия» и немало других, с организацией которых вы, как кажется, уже знакомы.

Как видите, говоря об экономической проблеме, мы незаметно подошли к проблеме социальной, для нас более трудной и более сложной.

Нашей задачей являлось разрешение проблемы личности и общества. Нужно было построить такое человеческое общество, в котором личность не чувствовала бы на себе никаких пут, а общество невидимыми для личности путями блюло бы общественный интерес.

При этом мы никогда не делали из общества кумира, из государства нашего — фетиш.

Всегда нашим конечным критерием являлось углубление содержания человеческой жизни, интегральная человеческая личность. Все остальное было средством. Среди этих средств наиболее мощным, наиболее необходимым почитаем мы общество и государство, но никогда не забываем, что они — только средства.

Особенно осторожны мы в отношении государства, коим пользуемся, только когда этого требует необходимость. Политический опыт многих столетий, к сожалению, учит нас тому, что человеческая природа всегда почти остается человеческой природой, смягчение нравов идет со скоростью

геологических процессов. Сильные натуры, обладающие волей к власти, всегда стремятся добыть себе полную интегральную и содержательную жизнь на опустошении жизни других. Мы понимаем отлично, что жизнь Герода Атика, Марка Аврелия, Василия Голицына вряд ли в чем-нибудь по своему содержанию и глубине уступали жизни лучших людей современности. Вся разница в том, что тогда этой жизнью жили единицы, теперь живут десятки тысяч, в будущем, надеюсь, будут жить миллионы. Весь социальный прогресс только в том и заключается, что расширяется круг лиц, пьющих из первоисточника культуры и жизни. Нектар и амброзия уже перестали быть пищею только олимпийцев, они украшают очаги бедных поселян.

В сторону этого прогресса общество неуклонно развивается последние два столетия, и оно, конечно, имеет право обороняться. Когда какие-нибудь сильные натуры или даже целые группы сильных натур мешают этому прогрессу, то общество может обороняться, и государство — испытанный в этом отношении аппарат.

Кроме того, оно неплохое орудие для целого ряда технических надобностей.

Вы спросите, как оно у нас устроено? Как вам известно, развитие государственных форм идет не логическим, а историческим путем. Этим отчасти и объясняются многие из существующих наших установлений. Как вы знаете, наш режим есть режим советский, режим крестьянских Советов. С одной стороны — это наследие социалистического периода нашей истории, с другой стороны — в нем немало ценных сторон. Необходимо отметить, что в крестьянской среде режим этот в своей основе уже существовал задолго до октября 17 года в системе управления кооперативными организациями.

Основные начала этой системы вам, вероятно, известны, и я не буду останавливаться на них.

Скажу только, что мы ценим в ней идею непосредственной ответственности всех органов власти перед теми массами или учреждениями, которые они обслуживают. Из этого правила у нас изъяты только суд, государственный контроль и некоторые учреждения в области путей сообщения, стоящие всецело в управлении центральной власти.

Немалую ценность в наших глазах представляет расщепление законодательной власти, при котором принципиаль-

ные вопросы решаются съездом Советов с предварительным обсуждением их на местах, подчеркиваю — обсуждением, т. е. закон запрещает делегатам иметь императивные мандаты. Сама же законодательная техника передается Ц.И.К. и в целом ряде случаев Совнаркому.

При таком способе управления народные массы наиболее втянуты в государственное творчество, и в то же время обеспечена гибкость законодательного аппарата.

Впрочем, мы далеко не ригористы даже в проведении всей этой механики в жизнь и охотно допускаем местные варианты; так, в Якутской области у нас парламентаризм, а в Угличе любители монархии завели «удельного князя», правда, ограниченного властью местного совдепа, а на Монголо-Алтайской территории единолично правит «генерал-губернатор» центральной власти.

— Простите,— перебил его Кремнев.— Съезды Советов, ЦИК и местные совдепы — это все же не более как санкция власти, на чем же держится у вас сама материальная власть?

— Ах, добрейший мистер Чарли, об этих заботах наши сограждане почти уже забыли, ибо мы совершенно почти разгрузили государство от всех социальных и экономических функций, и рядовой обыватель с ним почти не соприкасается.

Да и вообще мы считаем государство одним из устарелых приемов организации социальной жизни, и 9/10 нашей работы производится методами общественными, именно они характерны для нашего режима: различные общества, кооперативы, съезды, лиги, газеты, другие органы общественного мнения, академии и, наконец, клубы — вот та социальная ткань, из которой слагается жизнь нашего народа как такового.

И вот здесь-то при ее организации нам приходится сталкиваться с чрезвычайно сложными организационными проблемами.

Человеческая натура, увы, склонна к опрощению, предоставленная сама себе без социального общения и психических возбуждений со стороны, она постепенно погасает и растрачивает свое содержание. Брошенный в лес человек дичает. Его душа скудеет содержанием.

Поэтому вполне естественно, что мы, разнеся вдребезги города, бывшие многие столетия источниками культуры,

весьма опасались, что наше распыленное среди лесов и полей деревенское население постепенно закиснет, утратит свою культуру, как утратила ее в петербургский период нашей истории.

В борьбе с этим закисанием нужно было подумать о социальном дренаже.

Еще большие опасения внушала проблема дальнейшего развития культуры, того творчества, которым мы были обязаны тому же городу.

Нас неотступно преследовала мысль: возможны ли высшие формы культуры при распыленном сельском поселении человечества?

Эпоха помещичьей культуры двадцатых годов прошлого века, давшая декабристов и подарившая миру Пушкина, говорила нам, что все это технически возможно.

Оставалось только найти достаточно мощные технические средства к этому.

Мы напрягли все усилия для создания идеальных путей сообщения, нашли средства заставить население двигаться по этим путям, хотя бы к своим местным центрам, и бросили в эти центры все элементы культуры, которыми располагали: уездный и волостной театр, уездный музей с волостными филиалами, народные университеты, спорт всех видов и форм, хоровые общества, все вплоть до церкви и политики было брошено в деревни для поднятия ее культуры.

Мы рисковали многим, но в течение ряда десятилетий держали деревню в психическом напряжении. Особая лига организации общественного мнения создала десятки аппаратов, вызывающих и поддерживающих социальную энергию масс, каюсь, даже в законодательные учреждения вносились специально особые законопроекты, угрожавшие крестьянским интересам, специально для того, чтобы будировать крестьянское общественное сознание.

Однако едва ли не главное значение в деле установления контакта наших сограждан с первоисточником культуры имели закон об обязательном путешествии для юношей и девушек и двухгодовая военно-трудовая повинность для них.

Идея путешествий, заимствованная у средневековых цехов, приводила молодого человека в соприкосновение со всем миром и расширяла его горизонты. В еще большей

мере он подвергался обработке во время военной службы. Ей, говоря по совести, мы не придавали почти никакого стратегического значения: в случае нападения иноземцев у нас есть средства обороны более мощные, чем все пушки и ружья, вместе взятые, и если немцы приведут в исполнение свои угрозы, они в этом убедятся.

Но педагогическая роль трудовой службы, нравственно дисциплинирующая — неизмерима. Спорт, ритмическая гимнастика, пластика, работа на фабриках, походы, маневры, земляные работы — все это выковывает нам сограждан, и, право же, милитаризм этого рода искупает многие грехи старого милитаризма.

Остается развитие культуры, отчасти я уже говорил вам о том, что сделано в этой области.

Главная идея, облегчившая нам разрешение проблемы, была для искусственного подбора и содействия организации талантливых жизней.

Прошлые эпохи не знали научно человеческой жизни, они не пытались даже сложить учение о ее нормальном развитии, о ее патологии, мы не знали болезней в биографиях людей, не имели понятия о диагнозе и терапии неудавшихся жизней.

Люди, имевшие слабые запасы потенциальной энергии, часто сгорали, как свечки, и гибли под тяжестью обстоятельств, личности колоссальной силы не использовали десятой доли своей энергии. Теперь мы знаем морфологию и динамику человеческой жизни, знаем, как можно развить из человека все заложенные в него силы. Особые общества, многолюдные и мощные, включают в круг своего наблюдения миллионы людей, и будьте уверены, что теперь не может затеряться ни один талант, ни одна человеческая возможность не улетит в царство забвения...

Кремнев вскочил потрясенный.

— Но разве это не ужас! Эта тирания выше всех тираний! Ваши общества, воскрешающие немецких антропософов и французских франкмасонов, сто́ят любого государственного террора. Действительно, зачем вам государство, раз весь ваш строй есть не более как утонченная олигархия двух десятков умнейших честолюбцев!

— Не волнуйтесь, мистер Чарли, во-первых, каждая сильная личность не ощутит даже намека нашей тирании, а во-вторых, вы были бы правы лет тридцать назад — тогда

наш строй был олигархией одаренных энтузиастов. Теперь мы можем сказать: «Ныне отпущаеши раба твоего!» Крестьянские массы доросли до активного участия в определении общественного мнения страны, и если мы духовно у власти, то потому только, что «Und der Keiser absolut, wenn er unsre Wille tut», как говорят немцы[1].

Попробуй самая сильнейшая организация пойти вразрез мнению тех, кто живет и думает в избах Ропольца, Муринова и тысяч других поселений,— сразу же потеряет она свое влияние и духовную власть.

Поверьте, что духовная культура народа, раз достигнув определенного, очень высокого духовного уровня, далее удерживается автоматически и приобретает внутреннюю устойчивость. Наша задача заключается в том, чтобы каждая волость жила своей творческой, культурной жизнью, чтобы качественно жизнь Корчевского уезда не отличалась от жизни уезда Московского, и достигнув этого, мы, энтузиасты возрождения села, мы, последователи великого пророка А. Евдокимова, можем спокойно сходить в могилу.

Глаза старика горели огнем молодости, перед Кремневым стоял фанатик.

Кремнев встал и с видимым раздражением обратился к Минину:

— Хорошо, вы говорите, что свободная человеческая личность, все государство, долг, общество — средства. Что же, по-вашему, социальный критерий для самооценки своих поступков для ваших граждан необходим или излишен?

— С точки зрения удобства государственного управления и как массовое явление — желателен, с точки зрения этической — необязателен.

— И это вы проповедуете открыто?

— Да поймите вы, дорогой мой,— вспыхнул старик,— что у нас нет воровства не потому, что каждый сознает, что воровать дурно, а потому, что в головах наших сограждан не может зародиться даже мысли о воровстве. По-нашему, если хотите, осознанная этика безнравственна.

— Хорошо, но вы-то, все это сознающие, вы, главковерхи духовной жизни и общественности, кто вы: авгуры или фанатики долга? какими идеями стимулировалась ваша работа над созданием сего крестьянского эдема?

[1] «И кайзер абсолютен, если он выполняет нашу волю».

— Несчастный вы человек! — воскликнул Алексей Александрович, выпрямляясь во весь рост.— Чем стимулируется наша работа и тысячи нам подобных? Спросите Скрябина, что стимулировало его к созданию «Прометея», что заставило Рембрандта создать его сказочные видения! Искры Прометеева огня творчества, мистер Чарли! Вы хотите знать, кто мы — авгуры или фанатики долга? Ни те и ни другие — мы люди искусства.

Глава двенадцатая,

описывающая значительные улучшения в московских музеях и увеселениях и прервавшаяся весьма неприятной неожиданностью

Утром следующего дня Кремнев почувствовал еще большее охлаждение к нему обитателей белоколпинского городка. Алексей Александрович как-то нехотя давал ему объяснения, связанные с устройством системы метеорофора.

По его словам, факт связи того или иного состояния погоды с напряжением силовых магнитных линий был отмечен еще в XIX столетии. Проносящиеся циклоны и антициклоны всегда имели свое магнитное видоизображение. Было только не совсем ясно, что в этой связи является определяющим моментом: погода определяет состояние магнитного поля или магнитное поле определяет погоду. Анализ подтвердил вторую гипотезу, и установка сети 4500 магнитных силовых станций позволила почти по полному произволу управлять состоянием магнитного поля, а следовательно, и погоды. Минин перешел к описанию метеорофора, но, заметив слабость Алексея в законах математики, резко прервал свои объяснения...

За обедом Кремнев почувствовал невыносимость своего положения, приближение катастрофы, и потому был счастлив безмерно, когда Параскева попросила его поехать с ней в Москву за покупками и для посещения духовного концерта московских колоколов.

Легкий аэропиль доставил их к трем часам на аэродром центра, и так как до начала концерта оставался добрый час времени, Параскева предложила Алексею посмотреть московские музеи, говоря, что теперь им удалось сделать то, перед чем остановилась в бессилии великая революция, и

вытянуть из музейной рутины все сокровища духа, хранящиеся в них.

— Даже Исторический музей и тот в семидесятый год был вынут из-под спуда!

Новое здание Румянцевского музея занимало целый огромный квартал от Манежа до Знаменки, выходя своими фасадами к Александровскому саду. В длинных вереницах комнат перед ними раскрылись диковинные видения Сандро Боттичелли, Рубенса, Веласкеза и других корифеев старого искусства, японские и неведомые ему ранее китайские эмали,— все эти дары чужих стран, выменянные, как пояснила Параскева, на новгородские и суздальские иконы у музеев Запада и восточных стран. Пробегая беглым осмотром десятки зал, Алексей невольно задержался в залах реликвий. Его поразила комната Пушкина, раскрывшая Алексею душу великого поэта лучше, чем все десятки книг, о нем когда-то прочитанных. Ушаковский альбом, листки альбомных стихов, портреты близких, нащокинский домик и сотни других свидетелей великой жизни.

Он был подавлен залами эпохи великой революции, где знакомые лица и предметы, несколько подернувшиеся патиной времени, подчеркнуто вызывающе смотрели на него.

Однако оставаться долее было невозможно, через полчаса должен был ударить первый колокол.

Когда они вышли на улицу, плотные толпы народа заливали собою площади и парки, сады, расположенные по берегу Москвы-реки. Получив в руки программу, Алексей прочел, что общество имени Александра Смагина, празднуя окончание жатвы, приглашает крестьян Московской области прослушать следующую программу, исполняемую на кремлевских колоколах в сотрудничестве с колоколами других московских церквей.

Программа

1. Звоны Ростовские XVI века.
2. Литургия Рахманинова.
3. Звон Акимовский (1731 г.).
4. Куранты Борисяка.
5. Перезвон Егорьевский с перебором.
6. «Прометей» Скрябина.
7. Звоны московские.

Через минуту густой удар Полиелейного колокола загудел и пронесся над Москвой, ему в октаву отозвались Кадаши, Никола Большой Крест, Зачатьевский монастырь, и Ростовский перезвон охватил всю Москву. Медные звуки, падающие с высоты на головы стихшей толпы, были подобны взмахам крыл какой-то неведомой птицы. Стихия Ростовских звонов, окончив свой круг, постепенно вознеслась куда-то к облакам, а кремлевские колокола начали строгие гаммы Рахманиновской литургии.

Алексей, подавленный, поверженный ниц высшим торжеством искусства, почувствовал, что кто-то взял его за плечо.

Быстро обернувшись, заметил он Катерину, с таинственным видом звавшую его следовать за собою... Он пытался сказать ей что-то, но звуки голоса бесследно тонули в колокольном звоне.

Через минуту они входили в залы гигантского ресторана «Юлия и Слон», в комнатах которого можно было укрыться от колокольного звона.

— Я не знаю, кто вы,— шептала взволнованная Катерина.— Знаю только, что вы не Чарли Мен.

И она, волнуясь и путаясь в словах, рассказала ему, что его плохое английское произношение и чистый русский выговор, детали костюма и незнание математики в первый же день вселили в их семье недоверие, все время усиливавшееся, что его определенно считают за антропософа, подготовлявшего германскую авантюру, что ему грозит арест и, может быть, еще что-либо худшее, что она не верит этой клевете, что за минувшие два дня она узнала и полюбила его, что он человек необыкновенный, хищный и прекрасный, как волк, и что она искала его предупредить и умоляет бежать, что она боится навести на его след судебную власть, которая теперь арестует немцев и антропософов, что война с минуты на минуту будет объявлена; и неожиданно поцеловав его в лоб, она столь же неожиданно скрылась.

Кремнев, годы живший в русском подполье самодержавной эпохи, все-таки был ошарашен и убит безысходностью своего положения. Он вздрогнул, заметив на себе пристальный и подозрительный взгляд половых.

Быстро вышел из ресторана на площадь. Колокола уже не сотрясали небо, и толпы в тревоге расходились. Газетчи-

ки разбрасывали листки. «Война, война»,— слышалось со всех сторон.

Не успел Кремнев пройти и десяти шагов, как кто-то опустил на его плечо тяжелую руку, и он услыхал голос: «Остановитесь, товарищ, вы арестованы!»

Глава тринадцатая,

знакомящая Кремнева с плохим устройством мест заключения в стране утопии и некоторыми формами утопического судопроизводства

Обширная «Гостиница для приезжающих из рязанских земель», временно превращенная в тюрьму, была окружена со всех сторон караулами крестьянской гвардии в живописных костюмах стрельцов эпохи Алексея Михайловича.

Когда арестовавший Алексея комиссар привел его в вестибюль и сдал на руки коменданту, тот взял его арестный № и, позвонив портье, сказал:

— Мы несколько не рассчитали помещения, и я буду принужден поместить вас на сегодняшнюю ночь в общую комнату. Вы как будто без вещей? Если вы москвич, то сообщите адрес, и мы пошлем к вам домой за необходимыми вещами.

Кремнев заметил, что он, к сожалению, человек приезжий, и ему обещали достать все из гостиничных запасов.

Концертный зал гостиницы, приспособленный в узилище, походил на вокзал узловой станции старого доброго времени. Мужчины и дамы разных возрастов и состояний сидели рядом с саквояжами и тюками в скучающих позах и с хмурым видом.

Здесь были немцы в кожаных куртках и кепи, худые и тонкие, с тевтонской надменностью и презрением ко всему окружающему. Русские бледные дамы, молодые люди с невидящими бесцветными глазами и какие-то юркие личности восточного происхождения.

Как удалось впоследствии узнать Алексею, русские дамы и молодые люди были антропософами, несчастными людьми, захваченными немецкой интригой и подавленными великой немецкой идеей.

Комендант узилища, вышедший в залу, еще раз извинился перед всеми собранными по поводу лишения их свободы и адских условий размещения, выразил надежду, что дня через два все будут уже на свободе, и обещал компенсировать неудобства хорошим обедом и всякими развлечениями.

Действительно, обед или, точнее, ужин не заставил себя ждать, а вечером немцы, окружив ломберные столы, резались в карты, остальная же публика слушала небольшой концерт, наскоро организованный комендантом.

Спали на складных постелях не раздеваясь. Утром Алексей был на допросе и на вопрос — кто он и почему выдавал себя за американца инженера Чарли Мена, чистосердечно рассказал всю свою историю, боясь, что его повествование встретят смехом, и как доказательство привел свой бюст из Белоколпинского паноптикума и вероятные материалы в залах реликвий Румянцевского музея.

К его великому удивлению, его повествование не встретило возражений или недоумений, но было спокойно записано, и ему сказали, что вечером его подвергнут экспертизе.

Весь томительно долгий день Кремнев просидел перед окнами отведенной ему комнаты и смотрел в город.

Социальное море было в состоянии бури, деревенская Россия, подобно дядьке Черномору, выводила из своих недр тридцать три богатырские силы.

Плотные колонны войск быстрыми шагами французских шассеров проходили по шоссе перед окнами. Какая-то молодая дама в голубой амазонке, на белом коне и с генеральским султаном принимала парад легкой кавалерии амазонок. С волнением в душе Алексей узнал в предводительнице одного из лихо проведенных эскадронов знакомые черты Катерины. Скоро кавалерия сменилась пехотой, и толпы штатского населения залили все видимое пространство.

Толпа слушала речи ораторов с разъезжающих автомобилей и ловила ленты телеграмм, кипами разбрасываемых в толпу.

К вечеру Алексея усадили в закрытый автомобиль и привезли на Моховую, где в круглой зале правления университета его ждала экспертная комиссия.

— Скажите,— начал свой вопрос седой старик в золотых очках,— что такое Обликомзап? Если вы действительно современник великой революции, вы должны разъяснить нам смысл этого слова.

Кремнев с улыбкой ответил, что это означает «Областной исполнительный комитет западной области» — учреждение, существовавшее некоторое время в Питере после перехода столицы в Москву.

— Что за учреждение Цекмонкульт?

— Центральный комитет монополизированной культуры, установленный в 1921 году для принудительного использования культурных сил.

— Скажите, по каким соображениям были в силу введены и почему уничтожены деревенские комбеды?

Кремнев ответил с достаточной удовлетворительностью и на этот вопрос.

Ему были предъявлены ряд документов эпохи с просьбой их комментировать, с чем он справился также удовлетворительно, и, наконец, ему долго и с трудом пришлось объяснять идею урбанизации земледелия, отвечая на вопрос о советских хозяйствах.

В итоге его собеседники-профессора долго и с сожалением качали головами и заявили ему на прощание, что он, несомненно, начитан в революционной литературе, в нем видно знакомство с архивами, но что он совершенно не представляет собою духа эпохи и чудовищно по непониманию толкует исторические события, а потому ни в коем случае не может быть признан современником их.

Когда Алексея везли обратно в узилище, то улицы снова были переполнены толпой, и она громко, как рокот моря, и торжествующе шумела.

Глава четырнадцатая,

и в первой части последняя, свидетельствующая одновременно о том, что подчас орала могут быть с успехом перекованы в мечи и что Кремнев в конце концов оказался в весьма печальном положении

Звон колоколов, торжественный и поющий, разбудил вынужденных обитателей «Гостиницы для приезжающих из

рязанских земель», и всем им вскоре было заявлено, что по случаю окончания войны все они свободны, но желающие могут остаться напиться утреннего кофе.

Тюрьма немедля превратилась в оживленный отель и тем вернулась к своему первоначальному естеству.

Когда Кремнев уходил, то комендант вручил ему пакет с определением следственной комиссии, которая указывала, что за отсутствием состава преступления гражданин, именующий себя Кремневым Алексеем, подлежит освобождению наравне с остальными. Версию об его происхождении комиссия считает неправдоподобной, но, не имея оснований усматривать в самозванстве гражданина, именующего себя Кремневым, какого-либо преступного элемента, следствие, возбужденное Никифором Мининым, прекращаем.

Алексей решил воспользоваться предоставленным ему правом позавтракать на казенный счет на верандах своего бывшего узилища и, заняв столик, углубился в чтение брошенного ему газетчиком листка с официальным сообщением о прекращении войны.

Алексей узнал, что 7 сентября три армии германского всеобуча, сопровождаемые тучами аэропланов, вторглись в пределы Российской крестьянской республики и за сутки, не встречая никаких признаков не только сопротивления, но даже живого населения, углубились на 50, а местами и на 100 верст.

В 3 часа 15 минут ночи на 8 сентября по заранее разработанному плану метеорофоры пограничной полосы дали максимальное напряжение силовых линий на циклоне малого радиуса, и в течение получаса миллионные армии и десятки тысяч аэропланов были буквально сметены чудовищными смерчами. Установили ветровую завесу на границе, и высланные аэросани Тары оказывали посильную помощь поверженным полчищам. Через два часа берлинское правительство сообщило, что оно прекращает войну и уплачивает вызванные ею издержки в любой форме.

Таковой формой русский Совнарком избрал несколько десятков полотен Боттичелли. Доменико Венециано, Гольбейна, Пергамский алтарь и 1000 китайских раскрашенных гравюр эпохи Танг, а также 1000 племенных быков-производителеи знаменитой породы «Nur für Deutsch».

Звонкие трубы крестьянской армии трубили фанфары, и

звуки скрябинского «Прометея», оказавшегося государственным гимном, сотрясали небо Москвы.

Кофе был допит, ростбиф окончен, и Кремнев поднялся со стула. Сгорбленный и подавленный происшедшим, он медленно спускался с лестницы веранды, идя один, без связей и без средств к существованию, в жизнь почти неведомой утопической страны.

Конец первой части

ЗОДИЙ

ВТОРОЕ ВЕЧЕРНЕЕ ИЗДАНИЕ

Орган О. М. С. К. О.

РЕДАКЦИЯ:

Дмитровка, 26

Телефоны 17-37
и 5-29-93

Ключ Радио в 175

Непринятые рукописи
назад не возвращает

Прием 4—5

ГЛАВНАЯ КОНТОРА:
Село Крылатское,
Москов. у.

Телефоны 3-04-23
и 47-66

Ключ Радио Е 116

Условия подписки
10 грамм золота.
Месяц 1 грамм золота.
Цена № розница
10,1 гр. з.
Объявления 0,2 гр. з.
строка.

Москва. Пятница, 5 сентября, 1984 года, 23 часа. № 231 В

СОДЕРЖАНИЕ:

Небывалый скандал в заседании ЦИК.
Германия на пороге голодной смерти.
Смерть Арсения Брагина.
Русские победы VII олимпиады.
Китайцы изготовляют нефть из воздуха.

Вчера в 2 часа дня тихо скончался

АРСЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ БРАГИН

Похороны в Пантеоне русской науки завтра в 12 дня

УПРАВЛЕНИЕ ВОЕННЫМИ СБОРАМИ

ПРЕДЛАГАЕТ
ЮНОШАМ И ДЕВУШКАМ
родившимся в 1961 году,
1 октября прибыть
в свои отделы

союзом плодоводов
получены:
Виноград из
«Стеклянных полей»
Бананы из Трапезунда

Общество
Сольвычегодской
культуры
ищет художников
и музыкантов,
желающих жить
в районе
его деятельности.
Условия по сообщению
адреса правлению ОСК

НОВЫЕ КНИГИ «АНТРОПОФАГОВ»

1) «Сборник мемуаров Великой революции» с портретами авторов...... ц.— 10 гр. з.

2) «Искусство завязывать галстук» с рисунками в красках.................. ц.— 5 гр. з.

3) Карамзин «Письма русского путешественника» с рисунками Ладонова в 4 томах.......... ц.— 15 гр. з.

4) П. Минина. «От Рокотова до Ладонова» с рисунками........................ ц.— 3 гр. з.

Продается Страдивариус,
Лубянка, 7, кв. 31

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

Дрезден, 4 сентября. Прения Германцик'а о хлебном балансе принимают все более острые формы. Согласно докладу Наркомзема, несмотря на переход советских хозяйств Германии к засеву 55% площади бобовыми, население центральной Европы или должно прекратить свой прирост, или искать новой с.-х. базы для пополнения своего пищевого баланса. Непрерывные закрытые заседания Германцик'а окончились, по слухам, избранием особого верховного комитета, которому предоставлены исключительные полномочия в переговорах с англо-французской и русской изолированными системами о международном разрешении продовольственного кризиса немецкого народа. Предложение Гагемана и молодых аграриев о переходе к системе крестьянского земледелия отклонено Германцик'ом без рассмотрения. Политическое положение остается крайне напряженным.

Константинополь, 5 сентября.

УП Олимпиада. Утро.

«Прыжок — Сидоров 34. Диск — Лацтией 28. Л. Теннис: Полуфиналы Итала». Кембридж. Улич «Париж. Бокс Сидней». Сасаферота. «Борсов» Ойома.

5 сентября 1984 года, 23 часа

Мы не ошиблись... К сожалению, мы не ошиблись. Вчерашнее выступление Архипа Таратина принесло и не могло не принести свои горькие плоды. Наши деды, попав сегодня в колонный зал ЦИК'а увидели бы знакомые им картины бушующего моря социальных страстей, столь свойственные прошлой эпохе городской культуры.

Таратин и $К^0$ могут быть довольны. Спартанская система преподавания, проводимая спартанскими государственными методами, привела к выявлению нравов времен персидских войн.

К счастью, «илоты» взбунтовались. Вся программа великого Архипа и иже с ним до крайности проста.

Мне, Архипу, чрезвычайно нравятся «стадионы» и «ристалища». Презренные «илоты», населяющие Есиилевскую и прилегающие волости, почему-то предпочитают Григория Богослова и Патерик Печерский. Но мы, Архипы, в Кинешемском совете в большинстве. А так как «несть власть, аще не от Бога», то разумейте языцы и покоряйтесь. Да будет в каждой волости стадион!!.

У Кинешемского Перикла не хватает злата вести среди «илотов» пропаганду своих аттических идей? Да платят тупоумные «илоты» по 5 граммов 3 лота с десятины специального местного обложения и ристают на таратинских стадионах.

Словом, да здравствует Фридрих Великий и Екатерина! Да здравствует печальной памяти государственный коллективизм! Да здравствует начало просвещенного абсолютизма! ибо широкие натуры в рамки крестьянской советской республики не умещаются.

Удивительнее всего, однако, то, что когда из кинешемского опекуната разгорается государственный скандал и верховная власть высшего большинства разъясняет товарищу Таратину, что она, государственная власть, блюдет не только свободу творящего начальства, хотя бы и опирающегося на местное большинство, но свободу каждого гражданина, хотя бы сей «илот» в своем околотке и был бы в самом ничтожном меньшинстве, то Архипы искренно удивляются!

А из прений выясняется то, что основа нашей крестьянской культуры — великий декрет 1928 г. о неотъемлемых личных правах гражданина для кинешемских Периклов не более, как любопытная бумажка, висящая за № 37-а в музее Центрального Исполнительного комитета. Обиднее всего то, что на уроки начатков политической грамотности, подобные вчерашнему и сегодняшнему, тратятся два дня законодательной работы. Было бы много лучше, если бы Архипы, приступая к государственной работе, внимательно прочитали бы страницы «Основ крестьянской культуры».

СВОБОДА ВЛАСТИ ИЛИ СВОБОДА ОТ ВЛАСТИ

Кинешемская трагикомедия с волостными стадионами Архипа Таратина воскрешает на столбцах нашей печати бесконечно старый, но вечно новый вопрос о духовной власти над помыслами народов.

История иезуитов XVII века, франк-масонов XVIII и XIX и антропософов XX века указывает нам, что существуют методы социального воздействия, при помощи которых небольшая кучка лиц может повергать в духовное рабство широкие народные массы. Причем идеи и волевые импульсы, внушаемые этими организациями народным массам, нередко ими самими не разделяются, а только используются как средства для осуществления иных идейных заданий.

А раз такая опасность существует, невольно возникает вопрос — не обязана ли государственная власть блюсти духовную жизнь народа и со всею присущею ей мощью разрывать идейные сети лукавых ловцов человеческих и защитить свой народ от посягательства на его духовную свободу.

Мы знаем, что в прошлых столетиях вопрос этот решился положительно. Изгнание иезуитов, судебное преследование масонов, духовная цензура и цензура политическая, законы против социалистов и множество других преследований мысли практиковались усиленно и не всегда безуспешно.

Однако все эти методы борьбы вряд ли возможны в условиях нашего крестьянского строя.

Основой нашего быта и культуры является присущая ей форма разрешения социальных и хозяйственных задач методами общественными, а не силою государственного принуждения. Великий декрет 1928 года о неотъемлемых личных правах гражданина превратил государство в послушное орудие человеческой личности и разрушил фетиш его суверенных прав. Поэтому молот государственной власти поднимается только тогда, когда проявление личной свободы нарушает чьилибо неотъемлемые личные права, когда, например, власть отца нарушает право сына получить необходимое образование.

На этом зиждется наш закон о минимуме образо-

вания, обязательный для всех наших школ, кем бы они ни устраивались.

Но раз проявление нашей свободы не нарушает ничьих неотъемлемых прав, то никакая власть не может эту свободу ограничить. Отсюда неизбежность для нас вливать в общественные формы все развитие нашей жизни и быта. Отсюда же невозможность использования государственной власти в борьбе с какой-либо идейной пропагандой, если последняя не нарушает ничьей свободы и не содержит в себе прямых угроз существующему общественному строю.

Архип Таратин может снова воскликнуть: «Как же могу я остановить растлевающее влияние старообрядческой проповеди, воскрешающей скиты XVII века?!»

— Весьма просто,— ответим мы.— Методами общественной борьбы с ними. Против каждого начетчика поставьте пропагандиста идей Великой Эллады, но отнюдь не городового в ахейском шлеме.

Печальной памяти эпоха государственного коллективизма наглядно доказала, что нет ныне Атлантов, могущих держать шар земной единственно на своих плечах, и что духовная монополия ничего, кроме сожжения духовной жизни, принести не может.

Помните, что в духовной жизни только духовно слабый нуждается в духовной защите своих идей методами внешнего воздействия. Если же начала Великой Аттической культуры, нам столь же близкие, не смогут в костромских лесах противостоять начетчикам Федосеевского толка, то грош ей цена, Архип Николаевич!

Впрочем, не самой Аттической культуре, а ее костромскому воплощению.

Вы скажете, что мы проповедуем принцип «Laisser faire passer[1]!». Нет, этот принцип был свойственен временам капиталистическим, т. е. для нас временам почти доисторическим.

Мы, твердо идя к переустройству мира согласно нашим идеалам, находим только, и на основании достаточного опыта, что наши задачи не требуют государственных перунов, но могут быть решены более легко и

---

[1] «Будь что будет!» *(франц.)*

более прочно методами добровольного общественного строительства.

В строе крестьянской России должна существовать не столько выявляемая свобода власти, сколько свобода от власти.

Алексей Минин.

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО СОЦИОЛОГА

Арсений Брагин

Угасла великая жизнь. Ушел в могилу патриарх им созданной науки.

Когда тридцать лет назад русские читатели открыли толстый том, на обложке которого было написано: «Скорость социальных процессов и методы их измерения», то имя Арсения Николаевича уже пользовалось широкой известностью, как пламенного оратора крестьянской группы ЦИК'а и исключительно удачливого и ловкого руководителя всякого рода политических кампаний.

Огромный личный опыт в руководстве социальными процессами, великолепно проведенная кампания по созданию политической мощи распыленного крестьянства обещали Брагину исключительную политическую карьеру. Однако кабинет ученого оказался ближе его сердцу.

Идя к социальной теории от социальной техники, Брагин любил повторять, что путь к созданию научной социологии лежит, во-первых, через накопление научного опыта в деле изучения частных проблем социальной практики и, во-вторых, через нахождение форм количественного выражения социальных явлений.

«Скорость социальных процессов» разрешила вторую проблему. Вскоре последовавшие за ней «Теория создания, поддержания и разрушения репутаций» и многотомная «Теория политического и общественного влияния» показали пути к разрешению первых.

Последние 12 лет своей жизни Арсений Николаевич, выполнив все, намеченное в одной из его юношес-

ких записок как программа жизни, перестал «быть деятельным» и жил, созерцая мир. Вчера он угас, как угасает до конца догоревшая свеча, и завтра друзья и ученики покойного проводят его прах в Пантеон русской науки.

А. Великанов.

Метеорофоры: Квадрат 38

до 12 свободная ясность.
12—2 форсированная для досушки снопов.
2—8 свободная ясность.
8—9 накопление облачности.
9—3 генеральный дождь.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Среди общего хора возмущенных голосов против выходки Таратина на вчерашнем заседании ЦИК «Воля Народа» пишет:

«При всей вздорности заявления Таратина о неподсудности ЦИК кинешемских дел в его речи затронута большая и еще неразрешенная проблема федералистического устройства».

Для многих 2×2 еще неразрешенная проблема!

Зато Иваново-Вознесенской «Правде» все ясно:

«Голос Таратина прозвучал как голос настоящего государственного мужа в нашу эпоху всеобщей обывательщины!» Не столько хорошо — сколько здорово!

«Плуг» обеспокоен германскими событиями, которые «угрожают осложнениями» «человечеству, за 40 лет отдохнувшему от международной жизни».

Издательство «Антропофаг» выпустило трехтомный сборник «Мемуаров великой революции». Большая часть материала уже известна читающей публике, но есть кое-что новое; так, мы узнаем, что известное московское Государственное Совещание проходило,

имея на сцене Большого театра декорации того акта «Пиковой Дамы», где в игорном притоне поется: «Сегодня ты, а завтра я!..»

Приведено несколько дневников. В одном из них читаем недоуменное изумление отца семейства в 1919 году, когда его дочь по I категории получила фунт сахара за 6 рублей 50 коп., а его жена по III категории 1/4 фунта за 13 руб. 25 коп. и проч. Весьма рекомендуем прочесть. Свежо предание, а верится с трудом.

А.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ

Сегодня в ЦИК'е.

Дневное заседание открывается в 14 часов. Председательствует Сосипатр Лбов.

Председатель Совнаркома на запрос костромских депутатов поясняет, что действительно в Кинешемском совете была принята система муниципального образования по типу греческих гимназий и для ее финансирования введен специальный местный поземельный налог, что действительно заволжские волости отказались платить означенный налог, а когда гимназии и стадионы при них были построены, то они не могли открыться за полным отсутствием учеников, оставшихся в местных общественных школах. Кинешемский совет постановил постройку гимназии продолжать, а деньги черпать из средств, ассигнованных на дорожное дело указанных волостей. Заволжские волости возбудили ходатайство о выделении их в особый уезд, кое во вчерашнем заседании Совнаркома в принципе принято. (Аплодисменты; на скамьях кинешемских депутатов движение и крики «Позор!».)

А. Таратин протестует против решения Совнаркома. Заявляет, что оно нарушает принципы федерации и что Кинешемская община ему не подчинится.

(Шум, крики «Позор, позор!». Звонок председателя.)

Ни одно человеческое общество не может существовать без внутренней дисциплины и суверенных прав большинства. Поэтому Кинешемская община, считая происшедшее своим внутренним делом, не может допустить постороннего вмешательства. (Шум. Звонок председателя.)

Ф. Булгаков указывает, что во имя общественной дисциплины кинешемское большинство должно подчиниться большинству всей республики.

Ив. Сироткин заявляет, что они, кинешемцы, не есть часть русской республики, а члены федерации русских самостоятельных республик и будут защищать свою государственную независимость вплоть до вооруженного сопротивления. (Шум. Крики. Депутаты вскакивают с мест. Таратин пытается разъяснить неправильность слов его товарища, говоря, что сказанное — его, Сироткина, личное мнение. Крик возрастает. Председатель объявляет перерыв до 9 часов вечера.)

В РОССИИ И ЗАГРАНИЦЕЙ

Вологда, 5 сентября.

После двухмесячных переговоров при содействии Наркомзема достигнуто соглашение между объединенным союзом крестьян-маслоделов и объединенным бюро областных потребительских союзов об уровне цен на маслодельческие продукты в будущем 1895 году. Препятствия к заключению генерального договора отпадают, и кризис маслоснабжения следует считать изжитым.

Урга, 5 сентября.

Профессором университета в Нанч-Ки Ти-Фон-Таем найден способ дешевого фабричного радиирования

азота с 60% выхода углеводородов бензольного ряда. Соединенный совет азиатских провинций, заслушав меморандум Ти-Фон-Тая, постановил присвоить ему звание Ми-Та-та-Фуя, что значит «победитель топливного голода».

ИСКУССТВА И НАУКИ

Общество изографа Алимпия устраивает памяти Питера Брейгеля выставку картин своих членов. Согласно условию, картины должны быть выдержаны в красочной гамме и формах П. Брейгеля. Вернисаж в будущее воскресенье в выставочных залах Румянцевского Музея.

Союз крестьянских хоровых обществ намечает на первое мая будущего года «Родит земля живые всходы» Можарова в исполнении соединенного хора 32 великорусских губерний в составе 40 000 певцов. Партитуры рассылаются в волостные отделы союза.

— Историческими исследованиями Вилбранда окончательно установлено авторство И. Огановского для известного политического памфлета 20-х годов — «Каша для крестьянина или крестьянин для каши».

СО ВСЕХ КОНЦОВ

— Опубликован отчет социального фонда Рязанских земель, достигшего 120 тонн золота.

— По слухам, в комитете косвенных налогов и цен предположено некоторыми членами премирование культуры бобовых за счет обложения подсолнечного масла, взвинченные цены которого вызывают нарекание севера.

— Отлет вечерних атлантик-аэролетов западного аэродрома с 1 октября переносится на 20 часов.

— В клиники Москвы из Смоленской губернии привезен редкий больной, страдающий болезнью, напоминающей так называемый тиф, распространившийся

во время великой революции. За последние 50 лет он нигде не наблюдался.

КНИГИ! НОВЫЕ! КНИГИ!

Аноним. «История автомобиля № 2734». Исторический роман. М., 1984. VII+1320, ц. 5 гр. золота.

Перед нами лежит самая увлекательная книга из литературного урожая настоящего года.

Правда, ее историчность не более как вероятна, но она подобна многим блестящим афоризмам и не претендует на большее. Автор повествует, как автомобиль марки Систлей переплыл океан под угрозой немецких субмарин, попал в дворцовые гаражи занесенного снегом Петрограда 1916 года. Как дебютировал он, качая на своих рессорах тоскующего Ali се, как несколько месяцев после он умчал на Малую Невку окровавленный труп Распутина, как был он захвачен на углу Литейного Волынцами 26 февраля 1917 года, как служил он верой и правдой Чхеидзе, Терещенко, Чернову и Церетелли, как был он реквизирован у последнего матросами 3 июля 1917 года, принимал участие в кровавой эпопее июльских дней, а после в дни октября несся в Москву с двумя юношами, имена которых история не сохранила, и многие годы укачивал на своих рессорах маститого Бонч-Бруевича. Перед читателем пестрой лентой проходят эфемерные владельцы машин, случайные седоки и шоферы. Меткие характеристики и красочно очерченные портреты исторических лиц и безымянных придворных, эсеровских агитаторов, певичек, коммунистических комиссаров, политиканствующих профессоров — наполняют страницы романа, заканчивая свой круг глубоко жизненным портретом бабы Пелагеи, которая на разбитом и старом шасси возит кооперативные бидоны с молоком из деревни Белозорова на станцию.

Книжный червь.

А. Великанов. Развитие крестьянского общественного мнения в XX веке, 5-е издание, дополненное и переработанное. М., 1984. XII+400 стр. Ц. 8 гр. золота.

Автор с похвальной настойчивостью продолжает разрабатывать новый источник в истории человеческого духа. Его основная мысль — что для познания эпохи необходимо изучить идеи и взгляды не знаменитых властителей дум, а рядового обывателя — привела его к связкам обыденных писем, к тетрадям нехитрых дневников. Брагинская школа дала обобщающие методы разработки, и перед нами проходят глубины национальной жизни, подпочва истории. 5-е издание расширено на 50 новых страниц и обогащено 10 портретами, из которых очень интересен портрет крестьянина Кузмичева, найденный дневник которого освещает эпоху первого крестьянского Совнаркома.

Т.

ТЕАТРЫ. Завтра новая постановка.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР города Москвы.— «Гасан из Бары», опера Анатолия Александрова.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР — памяти Станиславского: — «Камарго и семь голландцев». Комедия Скорпиоланти.

ЗАЛ ЗАПАДА: «Гамлет» Шекспира.

Обычный репертуар в афишах.

Вчера на Лубянке потерян сверток с рукописями. Нашедшего просят вернуть — Тихвинский, 7, Клепикову.

Издатель О.М.С.К.О.

Редактор *П. И. Галкин*

Примечания

История парикмахерской куклы, или Последняя любовь московского архитектора М.

Печатается по изданию: История парикмахерской куклы, или Последняя любовь московского архитектора М.: Романтическая повесть, написанная ботаником X. и иллюстрированная антропологом А. М., 1-й год республики (1918). Издание автора и художника.

С. 24. *в стиле мемуаров Казановы — Казанова* Джованни (1725—1798) — итальянский авантюрист и писатель, в его мемуарах описаны многочисленные любовные похождения автора.

С. 28 *парасоль* — зонтик от солнца.

С. 31. *самолетский пароход* — имеется в виду пароходство «Самолет».

С. 34. *Ноев* — известная московская фирма.

С. 48. *стигмат (лат.)* — кровавая язва, появлявшаяся на теле религиозного фанатика в результате его мыслей о язвах на теле распятого Христа.

С. 50. *Чупров* Александр Иванович (1842 — 1908) — экономист, статистик, историк народнического направления.

С. 51. *Севинье,* Мария (1626 — 1696) — маркиза, известная французская писательница. *Гриньян* — поместье ее мужа на юге Франции.

Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей

Печатается по изданию: Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей: Романтическая повесть, написанная ботаником Х., иллюстрированная фитопатологом У. М., V год республики (1921).

С. 55. *Чернышев* Захар Григорьевич (1722 — 1784) — граф, генерал-фельдмаршал. В 1760 г. командовал отрядом при взятии Берлина во время Семилетней войны (1756 — 1763).

Антон Антонович Антонский-Прокопович (ум. 1848) — профессор, с 1818 по 1826 г. директор Московского университетского благородного пансиона.

Ламираль, Жан (годы рождения и смерти — неизвестны) — французский артист, педагог и балетмейстер начала XIX в. С 1806 г.— балетмейстер и артист в Москве, преподаватель Театрального училища.

Сандунов Сила Николаевич (1756—1820) — актер придворного театра, с 1794 г. играл в Москве, был режиссером.

Шувалов Иван Иванович (1727—1797) — государственный деятель; при его поддержке был создан Московский университет.

Мелиссино Иван Иванович (1718—1795) — государственный деятель, директор Московского университета.

Херасков Михаил Матвеевич (1733—1807) — писатель; второй куратор Московского университета; в 1779 г. основал Московский университетский благородный пансион.

Шевырев Степан Петрович (1806—1864) — историк русской словесности, критик и поэт, автор книги «История императорского Московского университета» (1855).

Баузе Федор Григорьевич (1752—1812) — профессор и ректор Московского университета, собиратель русских древностей: рукописей, старопечатных книг, монет.

Калайдович Константин Федорович (1792—1832) — археограф-историк.

С. 56. *«Новая Киропедия»* — книга французского писателя Адриена Рамзэ (1686—1743) — «Новая Киропедия, или Путешествия Кировы, с приложенными разговорами о богословии и баснотворстве древних». М., 1785. Издание Н. И. Новикова.

Медокс Михаил Егорович (1747—1822) — театральный антрепренер, профессор математики Оксфордского университета; переселившись в Россию, построил в Москве на Петровке каменный театр.

С. 57. *канзу* (канезу) — род небольшой пелерины.

С. 59. *Семилетняя война* (1756 — 1763) — война, в которой участвовали почти все европейские государства; Россия в союзе с Австрией, Францией, Швецией и Саксонией воевала против Пруссии; в 1760 г. русские войска овладели Берлином.

Асмодей — имя злого демона, князя демонов.

Шлюсен (нем.) — кончаю.

Иерофант — у египтян и древних греков жрец, толкователь обрядов.

Приап — в греческой мифологии бог плодородия, покровитель чувственных наслаждений и мужской силы.

С. 66. *пентакль* — в магии название особых фигур, предохраняющих от воздействия злых сил.

С. 68. *Альдебаран* — наиболее яркая звезда в созвездии Тельца.

С. 69. *Месмер* Фридрих (Франц) (1733 — 1815) — врач, основатель учения о так называемом животном магнетизме; пользовался гипнозом в лечебных целях.

С. 70. *Румянцев-Задунайский* Петр Александрович (1725 — 1796) — полководец, генерал-фельдмаршал.

С. 71. *гроденапль (франц.)* — материя, род плотной тафты.

С. 73. *Коцебу,* Август Фридрих Фердинанд фон (1761 — 1819) — немецкий писатель, автор романов, пользовавшихся широкой популярностью в конце XVIII — начале XIX вв.

Великий Фридрих (1712—1786) — прусский король, выдающийся полководец, в государственной деятельности выступал как сторонник «просвещенного абсолютизма».

Максимильян — Робеспьер Максимильен Мари Изидор де (1758—1794) — деятель Великой французской революции.

Франциск I (1494—1547) — французский король, покровительствовал искусствам.

Венецианское зеркало, или Диковинные похождения стеклянного человека

Печатается по изданию: Венецианское зеркало, или Диковинные похождения стеклянного человека: Романтическая повесть, написанная ботаником Х. и на этот раз никем не иллюстрированная. Берлин: Книгоиздательство «Геликон», MCMXXIII (1923).

Необычайные, но истинные приключения графа Федора Михайловича Бутурлина

Печатается по изданию: Необычайные, но истинные приключения графа Федора Михайловича Бутурлина, описанные по семейным преданиям московским ботаником X. и иллюстрированные фитопатологом У. М., VII год республики (1924). Издание автора.

С. 95. *Поповский* Николай Никитич (1730 — 1760) — поэт, переводчик, ученик М. В. Ломоносова, один из первых профессоров Московского университета.

Орлов Алексей Григорьевич (1737—1807(8)) граф, генерал-аншеф, вывел знаменитую породу орловских рысаков.

Жемчугова (графиня Шереметева) — Прасковья Ивановна (театральный псевдоним, настоящая фамилия Ковалева) (1768—1803) — актриса, певица, до 1798 г.— крепостная, затем жена графа Н. П. Шереметева.

С. 96. *Головкин* Петр Гаврилович (конец XVIII — начало XIX) — граф, коллекционер, имел в Москве большое собрание картин, привезенных из заграничных путешествий.

Теорез (начало XIX) — московский торговец картинами и другими произведениями искусства.

Чефроли (начало XIX) — московский торговец картинами и другими произведениями искусства.

Новиков Николай Иванович (1744—1818) — просветитель, издатель, писатель, журналист; масон.

Шварц Иван Григорьевич (ум. 1784) — профессор Московского университета, писатель-мистик, просветитель; по его проекту при Московском университете основана педагогическая семинария; друг и соратник Новикова; масон.

Корсаков Иван Николаевич (вторая половина XVIII — начало XIX) — фаворит Екатерины II, красавец, модник, имел славу удачливого волокиты.

С. 97. *Брюс* Яков Вилимович (1670 — 1735) — государственный и военный деятель, сподвижник Петра I. Пользовался славой колдуна и чернокнижника.

С. 103. *астральный план* — астральный — относящийся к звездам; расположению звезд на небе издревле приписывалось магическое значение и способность влиять на судьбы людей, толкованием чего занималась астрология.

С. 104. *Кавеньяк* Жан-Батист (1762 — 1829) — деятель Великой

французской революции, высказывался за казнь короля, основал передвижной революционный трибунал, отличавшийся крайней жестокостью.

С. 105. *Миних* Бухард Кристоф (1683 — 1767) — граф, военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал; командующий русской армией в русско-турецкой войне 1735 — 1739 гг.

С. 107. *Ковенгарден* (Ковент Гарден) — королевский театр в Лондоне. Основан в 1732 г.

Сидонс (Сиддонс) Сара (1755—1831) — английская трагическая актриса, прославилась исполнением ролей в пьесах Шекспира.

С. 108. *Нинон Ланкло* (1620 — 1705) — французская куртизанка; описание ее жизни содержится в книге Таллемана (1619 — 1692) «Занимательные истории».

С. 109. *Эскуриал* (Эскориал) — резиденция испанских королей близ Мадрида, построена в XVI в.

Инкунабулы — западноевропейские печатные издания, выпущенные с момента изобретения книгопечатания (середина XV в.) до 1 января 1501 г.

Агриппа Генрих Корнелий Неттесгеймский (1486—1535) — немецкий ученый, врач, богослов, интересовался оккультными науками, современниками считался магом.

Тилли Иоанн-Церклас (1559—1632) — германский полководец, фельдмаршал католической лиги.

С. 112. *герцог Бульонский* Готфрид (ок. 1060 — 1100) — предводитель 1-го крестового похода, завоевал Иерусалим, но от иерусалимской короны отказался, приняв титул заступника Гроба Господня. Покровительствовал иоаннитам.

С. 114. *Истар* — богиня любви в ассиро-вавилонской мифологии.

С. 116. *архиепископ трирский Мелхиседек* — Трирское архиепископство — древнейшее в Германии; согласно легенде, основано в I в.

Рубан Василий Григорьевич (1742—1795) — писатель, поэт.

С. 121. *Яков, Исаак* — по библейской легенде, Иаков купил у своего брата Исава (а не Исаака) право первородства за чечевичную похлебку.

С. 123. *Северная Пальмира* — Петербург.

С. 125. *Горенки* — подмосковное село Разумовских, славилось садом и оранжереями.

Демидов Прокофий Акинфиевич (1710—1786) — заводчик, мил-

лионер, устроил в Москве ботанический сад с теплицами; ныне Нескучный сад.

С. 130. *Страхов* Николай Иванович (1768 — ок. 1811) — писатель-сатирик, переводчик.

С. 132. *Сандунова* Елизавета Семеновна (1772 или 1771—1826) — певица (сопрано), в 1794—1813 гг. пела на московской сцене, в 1813—1823 гг.— на петербургской.

«Кусковский перевозчик» — музыкальное представление, шедшее в крепостном театре графа Шереметева в Кускове.

С. 133. *Разумовский* Кирилл Григорьевич (1728—1803) — граф, последний гетман Украины, президент Петербургской Академии наук; брат Алексея Разумовского, фаворита Елизаветы Петровны.

Потемкин Григорий Александрович (1739—1791) — государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал.

«Синав и Трувор» — трагедия А. П. Сумарокова.

Княжна Тараканова — под этим именем в русской истории известны две личности: Августа (ок. 1744—1810) — дочь императрицы Елизаветы Петровны от брака с А. Г. Разумовским; до 1785 г. жила за границей, затем по повелению Екатерины II привезена в Россию, пострижена в монахини под именем Досифеи, жила в московском Ивановском монастыре; настоящее имя второй неизвестно, в 1770-е годы, живя в Париже, объявила себя принцессой Владимирской, дочерью Елизаветы Петровны, сестрой Пугачева; в начале 1775 г. по приказанию Екатерины II была выкрадена графом А. Г. Орловым из заграницы, заключена в Петропавловскую крепость, умерла 4 декабря 1775 г., не открыв своего настоящего имени. В московских слухах и толках конца XVIII — начала XIX в. сведения об обеих этих личностях соединились.

Юлия, или Встречи под Новодевичьим

Печатается по изданию: Юлия, или Встречи под Новодевичем: Романтическая повесть, написанная московским ботаником X. и иллюстрированная Алексеем Кравченко. М., MCMXXУШ (1928). Издание автора.

С. 137. *Вальберхова* Мария Ивановна (1788 — 1867) — известная драматическая актриса Петербургского императорского театра.

С. 139. *Стешка* — Степанида Сидоровна (фамилия неизвестна)

(начало XIX) — знаменитая московская цыганская певица, с ней пела ее дочь Ольга.

На Ваганькове — имеется в виду московское Ваганьковское кладбище.

С. 141. *колибер* — простые рессорные дрожки.

По... общему тению (устар.) — по силуэту.

С. 142. *вокзал* (воксал) — в 1820-е годы помещение, зал для гуляний и концертов, преимущественно музыкальных.

Долгоруков Юрий Владимирович (1740—1830) — государственный и военный деятель, участник Семилетней войны. Павлом I был назначен главнокомандующим в Москву, пробыл в этой должности лишь год, в результате доноса смещен и уволен в отставку. Впоследствии — член Государственного совета.

С. 143. *Обольянинов* Петр Хрисанфович (1753—1841) — генерал от инфантерии, любимец Павла I, в 1800—1801 гг. генерал-прокурор, затем московский губернский предводитель дворянства.

Писарев Александр Александрович (1780—1848) — писатель, сенатор, в 1820-е годы попечитель Московского учебного округа.

Апраксин Степан Степанович (1756—1827) — генерал от кавалерии, владелец крепостного театра.

Граф Федор Васильевич — Ростопчин (1763—1826) — генерал, в 1810—1814 гг. главнокомандующий Москвы, с 1814 г. в отставке.

«Павильон Армиды» — балет.

Шаховской Александр Александрович (1777—1846) — князь, поэт, драматург, преподавал театральное мастерство, был неоспоримым авторитетом в области драматургии и театра.

Гюлен-Сорша — Гюллен-Сор Фелицата (1805—1860) — французская балерина, с 1823 г. жила в России, в 1823—1839 г. выступала в московском Большом театре.

Петровский театр — старое название московского Большого театра.

Синецкая — Львова-Синецкая Мария Дмитриевна (1795—1875) — известная московская актриса, преимущественно драматическая, особенно популярна была в 1820-е годы.

Колосова Евгения Ивановна (1780—1869) — артистка, служила в Петербургском императорском театре, участвовала в оперных, балетных и драматических спектаклях.

С. 152. *настаивать на том, что мужские шинели шьют обычно у Лебура* — Лебур (начало XIX) — торговец галантереей, винами и другими привозными товарами.

С. 159. *похождения Телемака* — «Приключения Телемака» философско-утопический роман французского писателя Франсуа Фенелона (1651 — 1715), известный в России в переводе В. Тредиаковского.

Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии

Печатается по изданию: Кремнев Ив. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. Ч. 1. М.: Государственное издательство, 1920.

С. 161. *Флеровский — Берви-Флеровский* Василий Васильевич (1829 — 1918) — социолог, экономист, публицист, народник; его работа «Азбука социальных наук» (1871) пользовалась особой популярностью в среде революционно настроенной молодежи вплоть до начала XX в.

С. 162. *старый Морис — Мор* Томас (1478 — 1535) — английский гуманист, государственный деятель, один из основоположников утопического социализма, автор сочинения «Утопия»; им впервые введен термин «утопия», в переводе с греческого означающий «место, которого нет».

Добродетельный Томас — Кампанелла Томмазо (1568—1639) — итальянский философ, поэт, монах-доминиканец, автор утопического сочинения «Город Солнца».

Беллами Эдуард (1850—1898) — американский писатель, автор социально-утопического романа «Взгляд в прошлое».

Блечфорт Роберт (1851 — неизв.) — английский писатель-социалист.

С. 163. *Фурье* Шарль (1772 — 1837) — французский утопист-социалист.

С. 164. *Милюков* Павел Николаевич (1859 — 1943) — русский политический деятель, профессор-историк, лидер конституционно-демократической партии, министр иностранных дел во Временном правительстве, после Октябрьской революции занял враждебную позицию по отношению к Советской власти, в 1920 г. эмигрировал. Автор трудов по истории общественной мысли России и мемуаров.

Новгородцев Павел Иванович (1866—1924) — юрист, профессор Московского университета, выступал с критикой научного социализма.

Кускова Екатерина Дмитриевна (1869—1958) — участница рево-

люционного движения, одна из лидеров «экономизма». В 1922 г. выслана из СССР за связь с контрреволюционным подпольем.

Макаров Николай Павлович (1886 — неизв.) — крупный экономист-аграрник, профессор, друг А. В. Чаянова; репрессирован в 1930 г. по ложному обвинению.

С. 165. *Кадаши* — местность в Москве; здесь имеется в виду церковь Воскресения в Кадашах, выдающийся памятник архитектуры XVII века.

Дом Нирензее — многоэтажный дом в Большом Гнездниковском переулке, построенный в 1912—1915 гг. архитектором Э. К. Нирензее.

С. 166. *анархия князя Петра Алексеевича* — *Кропоткин* П. А. (1842—1921) — князь, русский революционер, теоретик анархизма, выдающийся ученый — географ и геолог.

Брейгель Питер, Старший, или «Мужицкий» (ок. 1525—1569) — нидерландский живописец и рисовальщик.

Шер Василий Владимирович (1883 — неизв.) — социал-демократ с 1905 г., после революции работал в Центросоюзе, ВСНХ, Госбанке; меньшевик; репрессирован в 1931 г.

Рязанов (Гольденбах) Давид Борисович (1870—1938) — участник революционного движения с 1889 г., историк и теоретик революционного движения, в 1921—1931 гг. директор ИМЛ; репрессирован.

С. 168. *Рыбников* Алексей Александрович (1887—1949) — художник — живописец и график, впоследствии занимался преимущественно реставрацией.

Мемлинг Ханс (ок. 1440—1494) — нидерландский живописец, склонный к лирической, бытовой трактовке религиозных сюжетов.

Фра Беато Анджелико (собственно: Фра Джованни да *Фьезоле*) (ок. 1400—1455) — итальянский живописец. Религиозно-созерцательное искусство Анджелико проникнуто светлым, наивным лиризмом, красочной сказочностью.

Боттичелли Сандро (Алессандро Филипепи) (1445—1510) — итальянский живописец, его произведения на религиозные и мифологические темы отмечены одухотворенной поэзией, изысканностью линий, красотой колорита.

Кранах Лукас Старший (1472—1553) — немецкий живописец и график. Ранние его произведения отличались реализмом, позднее стал крупнейшим представителем маньеризма, с характерными для этого стиля утонченностью и манерностью.

С. 169. *Купола Барашей* — имеется в виду церковь Воскресения в Барашах (район Москвы около Покровских ворот), построена в XVIIIв.

Контуры растреллиевского здания — дворец на улице Покровке (ныне ул. Чернышевского), построенный в стиле барокко неизвестным архитектором школы выдающегося зодчего Растрелли В. В. (1700—1771).

С. 170. *жох, ничка, плоцка* — термины игры в городки.

Виталиевские мальчики — фонтан на Театральной площади со скульптурными фигурами работы русского скульптора Витали И. П. (1794—1855).

Первопечатник — имеется в виду памятник первопечатнику Ивану Федорову (скульптор С. М. Волнухин), установленный в 1909 г. в Театральном проезде.

С. 171. *Рыков* Алексей Иванович (1881—1938) — советский государственный и партийный деятель, член РСДРП с 1898 г., в 1920-е гг. возглавлял ВСНХ; необоснованно репрессирован.

Коновалов Александр Иванович (1875—1948) — фабрикант, лидер партии «прогрессистов» в 4-й Государственной думе; во Временном правительстве министр торговли и промышленности; противник Советской власти, эмигрировал за границу.

Прокопович Сергей Николаевич (1871—1955) — идеолог «экономизма», деятель «Союза освобождения». В 1917 г.— министр Временного правительства. После революции работал в «Помголе». В 1922 г. выслан за границу за антисоветскую деятельность.

Середа Семен Пафнутьевич (1871—1933) — советский государственный,партийный деятель. Член РСДРП с 1903 г. С 1918 г.— нарком земледелия, с 1920 г.— член Президиума ВСНХ и Госплана.

Маслов Петр Павлович (1867—1946) — русский советский экономист, академик АН СССР. На IV съезде РСДРП выступил с меньшевистской программой муниципализации земель. После революции занимался проблемами политэкономии социализма.

С. 172. *чертежи Жолтовского — Жолтовский* Иван Владиславович (1867 — 1959) — советский архитектор, теоретик. Один из авторов первого плана реконструкции Москвы (1918 — 1923).

С. 173. *Архангельское* — усадебный ансамбль близ Москвы, с 1918 г.— музей; принадлежал князьям Юсуповым.

С. 174. *Шанявский университет* — университет имени Шанявского, в 1908 — 1918 гг. работал в Москве на средства либерального деятеля народного образования А. Л. Шанявского. Принимались лица обоего пола независимо от национальной принадлежности и политических взглядов. Давал среднее и высшее образование.

С. 175. *Всехсвятское* — село на северо-западной окраине Москвы, в начале XX века — дачная местность, в настоящее время входит в черту города.

С. 176. *«Братство святого Флора и Лавра»* — святые мученики братья Флор и Лавр (II в.) были строителями-каменщиками; Чаянов дал это название объединению деятелей искусства и литературы, видимо, потому, что в приходе церкви Флора и Лавра в Москве на Мясницкой ул. (ныне ул. Кирова) помещалось Училище живописи, ваяния и зодчества.

С. 177. *Минин* Алексей Александрович — прототипом этого образа является экономист-аграрник, один из ближайших друзей А. В. Чаянова Александр Никифорович Минин.

С. 178. *Яков Путер — Пюттер* Питер (ок. 1600 — 1659) — голландский художник-натюрмортист, главная тема его живописи — изображение рыб.

Вилем Кольф — Виллем *Калф* (1622—1693) — голландский живописец-натюрмортист.

Александров Анатолий Николаевич (1888—1982) — композитор, близкий знакомый А. В. Чаянова; упомянутая в «Зодии» его опера «Гасан из Бары» была поставлена лишь в 1958 г. под названием «Дикая Бара».

С. 179. *Ярополец, Белая Колпь* — подмосковные имения в Волоколамском районе, связанные с именами А. С. Пушкина и декабристов.

С. 180. *Радек* Карл Бернгардович (1885 — 1939) — советский государственный и партийный деятель, журналист, работник Коминтерна, участник революции в Германии (1918), редактор газеты «Известия»; незаконно репрессирован.

Эрве Гюстав (1871—1944) — один из лидеров левого крыла Французской социалистической партии.

Евгеника — теория биологического улучшения природы человека.

С. 188. *Лани Ю.— Лурье* Михаил Зальманович (1882 — 1932) — экономист, участник социал-демократического движения с 1900 г., член РКП(б) с 1917 г., член Президиума ВСНХ, член ВЦИК, ЦИК СССР.

Милютин Владимир Павлович (1884—1937) — советский государственный деятель, член РСДРП с 1910 г.; в 1917—1920-е гг. нарком земледелия, заместитель председателя ВСНХ; репрессирован.

С. 190. *Левшин* Василий Алексеевич (1746 — 1826) — русский писатель, переводчик, экономист; автор трудов по различным вопросам ведения домашнего хозяйства.

С. 192. *Муратов* Павел Павлович (1881 — 1950) — писатель, искусствовед; автор популярной историко-искусствоведческой рабо-

ты «Образы Италии» (1911 — 1912); близкий знакомый А. В. Чаянова.

Буль Андре Шарль (1642—1732) — французский мебельный мастер; создатель стиля мебели, получившего его имя.

С. 195. *Алимпий* (ум. 1114) — древнерусский живописец, автор мозаик Успенского собора Киево-Печерской лавры.

С. 196. *Герод Атик — Аттик* Ирод Тиберий Клавдий (I в.) римский аристократ, сенатор, консул, жрец, обладал большим богатством.

Марк Аврелий (121—180) — римский император, философ-стоик, автор труда «Наедине с собой».

Голицын Василий Васильевич (1643—1714) — князь, боярин, государственный деятель, фаворит правительницы Софьи Алексеевны, один из культурнейших людей своего времени; после падения Софьи сослан Петром I в Архангельский край, умер в ссылке.

С. 199. *немецкие антропософы* последователи мистического учения немецкого философа Рудольфа *Штейнера* (1861 — 1925).

С. 202. *Ушаковский альбом — Ушакова* Елизавета Николаевна (1810 — 1872) — московская знакомая А. С. Пушкина, в 1829 г. в ее альбом Пушкин вписал несколько стихотворений и сделал ряд рисунков.

Нащокинский домик — Нащокин Павел Воинович (1801—1854) — близкий друг Пушкина, сделал модель своего дома, точно воспроизводящую внутреннюю обстановку.

С. 207. *аэросани Тары — Тара* — в буддизме мифологический женский образ, воплощающий сострадание.

С. 209. *зодий* (древнерусское) — зодиак; также название гадательной книги XVII в.

С. 210. *антропофаг (греч.)* — человекопожиратель; название издательства пародирует «хищные» названия популярнейших московских дореволюционных издательств «Скорпион» и «Гриф».

С. 212. *илоты* — в древней Спарте несвободные земледельцы, являвшиеся собственностью государства и прикрепленные к земле.

Григорий Богослов — Григорий Назианзин (ок. 330— ок. 390) — греческий писатель, церковный деятель и мыслитель, епископ г. Назианза.

Патерик Печерский — сборник XIII—XV вв. житий монахов Киево-Печерского монастыря, выдающийся памятник древнерусской литературы.

С. 212. *Перикл* (ок. 490—429 до н. э.) — выдающийся политический деятель и законодатель древних Афин.

Фридрих Великий и *Екатерина* — Фридрих II (1712—1786) —

прусский король, Екатерина II (1729—1796) — русская императрица, выступали сторонниками доктрины «просвещенного абсолютизма».

С. 214. *Федосеевский толк* — религиозная секта, одно из направлений старообрядчества — беспоповщины, возникла в конце XVII в., названа по имени основателя Феодосия Васильева.

Laisser fair, laisser passer! (франц.) — Не вмешиваясь, пережидать.

Государственные перуны — здесь: карающие меры; *Перун* — в древнеславянской мифологии бог грома и молнии.

С. 216. *Московское Государственное Совещание* — состоялось 12—15 августа 1917 г., созвано Временным правительством, участвовали представители всех политических партий и общественных организаций от крупной буржуазии, помещиков, генералитета до эсеров, Советов рабочих и солдатских депутатов и Советов крестьянских депутатов; задачей Совещания было стабилизировать развитие революционного движения и укрепить буржуазную государственность; большевики оценили итоги Совещания как контрреволюционный заговор и вели агитацию в массах против решений Совещания.

С. 219. *Огановский И.*— имеется в виду экономист-аграрник *Н. П. Огановский* (1874 — после 1931); среди его работ такого памфлета нет.

С. 220. *волынцы* — Волынский резервный полк Петроградского военного округа — активный участник революционных событий 1917 г. в Петрограде, участвовал в штурме Зимнего.

Чхеидзе Николай Семенович (1864—1926) — один из лидеров меньшевиков, в социал-демократическом движении с 1890-х гг., в феврале-августе 1917 г.— председатель Петросовета, председатель ВЦИКа 1-го созыва, с 1921 г.— эмигрант.

Терещенко Михаил Иванович (1886—1956) — крупный землевладелец, капиталист, финансист; деятель национал-либеральной партии прогрессистов, министр во Временном правительстве, эмигрант, после Октябрьской революции занял резко враждебную позицию по отношению к Советской власти.

Чернов Виктор Михайлович (1873—1952) — один из лидеров и теоретиков партии эсеров, член ЦК эсеров, автор ее программы, в революционном движении с 1893 г., министр земледелия во Временном правительстве, с 1920 г.— эмигрант.

С. 220. *Церетели* Ираклий Георгиевич (1881—1959) — один из лидеров меньшевиков, в революционном движении с 1900 г., министр во Временном правительстве, с 1919 г.— член Учредительного собрания меньшевистской Грузии, с 1921 г.— эмигрант.

Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873—1955) — член с.-д. партии с 1895 г., сотрудник ленинской «Искры», участник революций 1905 и 1917 гг.; в 1917 г.— член Комитета революционной обороны Петрограда, председатель Комитета по борьбе с саботажем и контрреволюцией, в 1917—1920 гг.— управляющий делами СНК, в последующие годы на научной работе. Автор воспоминаний «На боевых постах Февральской и Октябрьской революций».

Книжный червь — подпись под рецензией пародирует псевдоним выдающегося библиографа *Н. А. Рубакина* (1862—1946), публиковавшего некоторые свои работы под псевдонимом «Книжный червяк».

Содержание

Александр Васильевич Чаянов

ВЕНЕЦИАНСКОЕ ЗЕРКАЛО

Повести

Редактор

В. ДОЛЬНИКОВ

Художественный редактор

Г. САЛЕНКОВ

Технический редактор

Л. ДЕМЬЯНОВА

Корректоры

В. ДРОБЫШЕВА, А. ВОЛОДИНА

ИБ № 5284

Сдано в набор 27.5.88. Подписано к печати 16.1.89. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Гарнитура об. нов. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Усл. краск.-отт. 12,76. Усл. печ. л. 12,6+вкл. 0,11. Уч.-изд. л. 12,87. Тираж 200 000 экз. Заказ 2208. Цена 1 р. 30 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР. 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46

ВПЕРВЫЕ

на родине русского писателя,
около двадцати лет жившего
и творившего во Франции,

МИХАИЛА АНДРЕЕВИЧА ОСОРГИНА (1878—1942)

в серии «Из наследия»
издательство «Современник»
выпускает в сборнике «ВРЕМЕНА» три его романа:

«СВИДЕТЕЛЬ ИСТОРИИ»,
«СИВЦЕВ ВРАЖЕК»,
«ВРЕМЕНА».

Пермский гимназист, московский студент, участник революционных событий 1905 года, приговоренный к смертной казни за участие в террористических актах, направленных против представителей царского режима, Михаил Ильин (литературный псевдоним — Осоргин) бежит за границу, где до февраля 1917 года занимается журналистикой (с начала первой мировой войны представляет крупную российскую газету в Италии). С первых дней Февральской буржуазной революции Осоргин находится в России, занимается организацией книгоиздательской жизни в стране. С победой Октябрьской революции вместе с крупнейшими русскими литераторами и журналистами налаживает писательскую и журналистскую деятельность молодой Республики Советов.

Высланный из Советской республики в 1922 году как «враждебный элемент», М. А. Осоргин душой, сердцем и литературной деятельностью остается русским человеком. Главная тема его творчества — родина, ее удивительная судьба, русский характер, искренняя вера в человека, в добро и в справедливость. Умер Михаил Осоргин в 1942 году на свободной территории Франции, до последнего дня оставаясь гражданином Советской России.

В серии «Из наследия»
вышли в свет в 1987 году следующие издания:

ВОНЛЯРЛЯРСКИЙ В. А.
БОЛЬШАЯ БАРЫНЯ

СУРГУЧЕВ И. Д.
ГУБЕРНАТОР

В 1988 году

ЗЛАТОВРАТСКИЙ Н. Н.
ДЕРЕВЕНСКИЙ КОРОЛЬ ЛИР

В ближайшее время
из печати выходит книга прозы

С. Ф. БУДАНЦЕВА
ПИСАТЕЛЬНИЦА